Today roaming

Leonid M. Baskin

1974

Chapters 1-14

Kamchatka With Koryaks Evens Chukchi

Chapter 15

Taymyr With Nganasans

Сегодня кочева

Л.М. Баскин

Главы 1-14

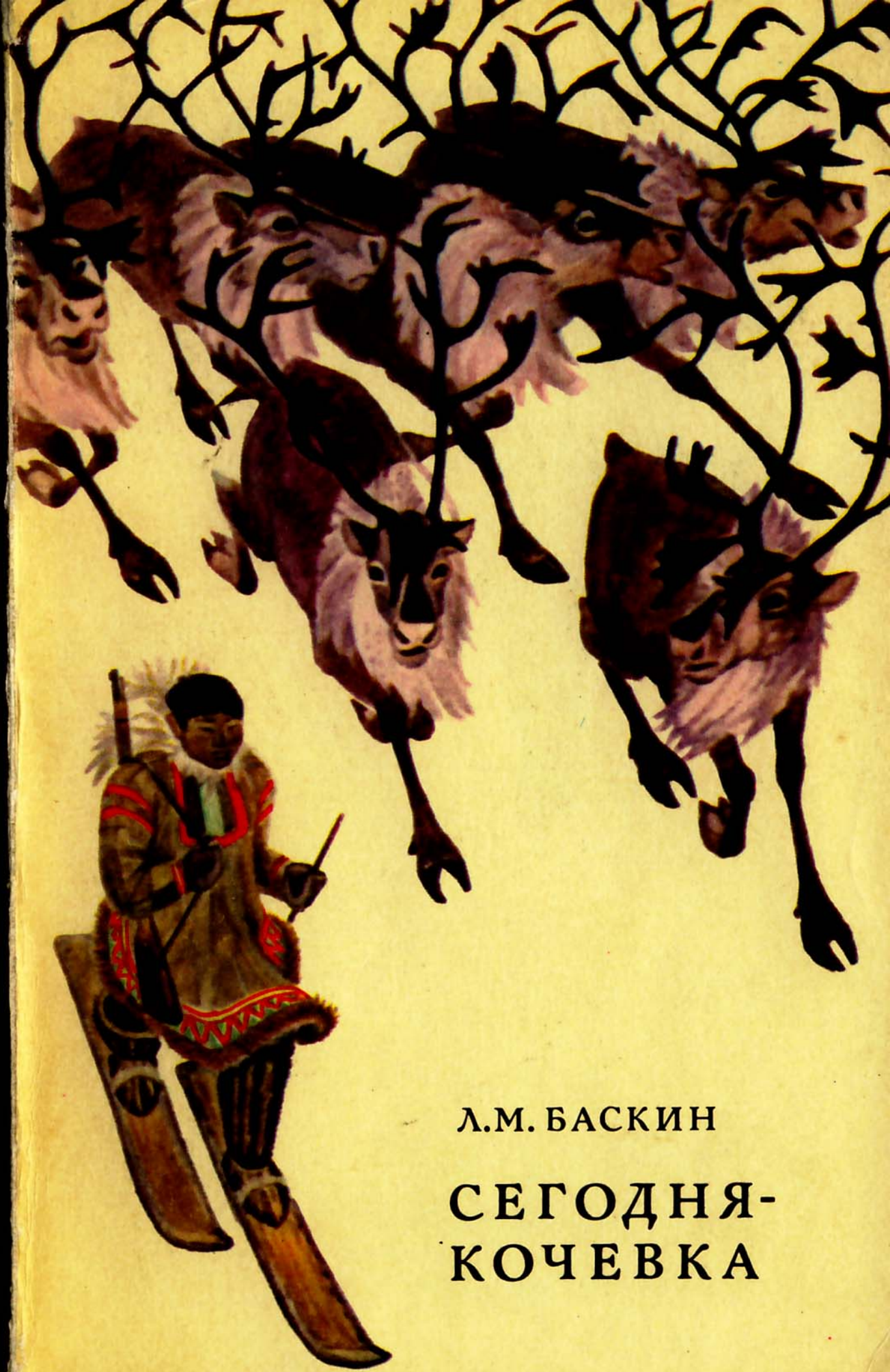
Камчатка С коряками, эвенами и чукчами

Глава 15

Таймыр С нганасанами

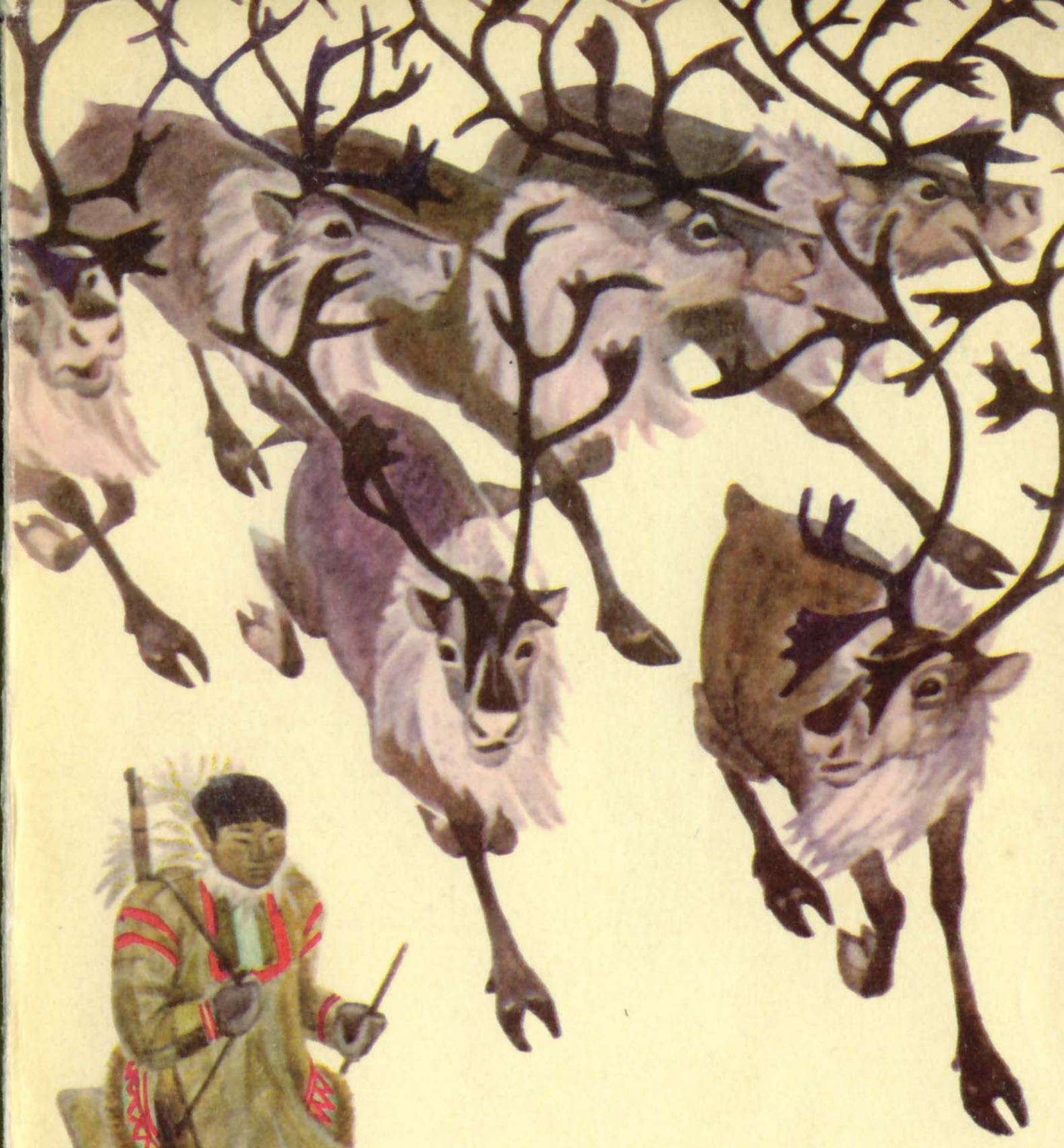
44 коп.





Л.М. БАСКИН

СЕГОДНЯ-КОЧЕВКА



Л.М. БАСКИН

СЕГОДНЯ-КОЧЕВКА

Л.М. БАСКИН СЕГОДНЯ-КОЧЕВКА



Л. М. БАСКИН

СЕГОДНЯ — КОЧЕВКА

Моей дорогой Валенке
в память о Камчатке.
Леня.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МЫСЛЬ»
МОСКВА · 1974

591.5
Б 27

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Б 20901-262 / 004 (01)-74 176-75

© Издательство «Мысль» · 1974



Это была не первая упряжка, но ее все ждали. И когда, проскочив палатки, она вдруг свернула влево, в сторону от дороги, люди бросились к ней. С нарты встал зоотехник Васильев, седой, грузный человек, и начал быстро распрягать правого оленя. К нему подбежала Наталья, высокая, худая женщина, вшила в уши оленя красные ленточки. Старый беговой тяжело дышал, но стоял спокойно, со рта капала пена и чуть-чуть дрожали большие, тонкие рога.

Васильев, не выпуская из рук уздечки, отошел на несколько шагов, и сейчас же Иван Долганский, его старый товарищ, ударил оленя ножом в сердце. Васильев отпустил уздечку и, не отрывая глаз от оленя, застыл. Подошли еще пастухи. Морозный ветер обжигал лица, но никто не замечал этого. Все напряженно глядели, как умирает беговой олень. Говорят, что в этот момент можно увидеть свою судьбу.

А он умирал долго. Удара олень как будто не почувствовал, только отошел в сторону. Вдруг он забеспокоился. С каждым мгновением тревога нарастала. Олень весь напрягся, было видно, как впервые задрожали его длинные ноги. Слегка помутнели глаза. И только теперь он, наверное, потерял ощущение окружающего и остался один на один со своей смертью. Он рванулся в сторону, потом постоял, дрожа всем телом. Ноги еще держали его на земле, но она стала зыбкой. Вдруг олень рухнул, кувыркнувшись через голову. Лежа на животе, судорожно, как перед последним прыжком, он поджал под себя ноги и наконец мягко повалился влево, на свое раненое сердце. Долганский вдвоем с кем-то из молодых пастухов сейчас же перевалили его на правый бок, волоча за рога, повернули

так, чтобы олень в последний раз мог увидеть горы вокруг, и снова направили головой к востоку.

— Вот и все,— тихо сказал Васильев.— Восемь лет был у меня этот олень.

— Жалко? — спросил стоявший рядом Гелхани.

— Нет, что же жалеть? Правильно придумали люди, так должен умереть беговой олень, в праздник.

Следуя обычаю, когда олень затих, все отвернулись от него. Подошла Наталья и рукой разбрызгала кровь из раны на все четыре стороны. Дети бродили вокруг, трогали за ленточки, трепетавшие в ушах.

Ни на кого не глядя, Васильев ушел в ярангу. Люди поспешно, с уважением расступились перед ним. Войдя внутрь, он молча прошел к пологу и забрался туда. Я последовал за ним. Вползли еще несколько человек. Зажгли свечку. И от ее пламени и дыхания людей в пологе вскоре стало тепло. Места было мало, и молодые пастухи всунули в полог только головы и плечи. Женщины втащили снаружи деревянные корытца со свежей печенкой, сырым головным и костным мозгом, вареным мясом. Молодые пастухи ели быстро, жадно, как и положено, как учат пастухов, чтобы не опаздывали в стадо, а старики не торопились, ждали, пока возьмет товарищ понравившийся кусок.

Вскоре молчание сменилось оживлением. То тут, то там люди что-то говорили друг другу на русско-корякском жаргоне, часто слышалась певучая эвенская речь. И Васильев тоже заговорил:

— Я приехал сюда в 1931 году. По образованию был лесовод, а послали организовывать первый на Камчатке совхоз. Зимой, в сильный мороз ездили на оленях по кочевьям. Два каюра, солдат-пограничник и я. Объявляли, что табун отныне принадлежит государству, а пастухи становятся рабочими совхоза, будут получать зарплату. Сложно было все это. Через переводчика трудно объяснить, какой она будет — эта новая жизнь. В 1934 году заложили поселок. Пастухи назвали его стройкой.

— Будете в верховьях Тылги,— обратился ко мне Васильев,— пастухи покажут это место. Через три года в поселке было наводнение. Сложив из бревен плоты, мы переправили поселок вниз, туда, где он стоит сейчас. А название «стройка» так и осталось.

Васильева слушали с большим вниманием. Когда он замолчал, Эхевьи сказал:

— Зачем ты уезжаешь? Оставайся.

— Нет, старый товарищ. Надо ехать. Знаешь, люди говорят: «Мильгетанин (так называют иногда камчатские пастухи людей, приехавших с материка) [1] здесь работает, помирать домой едет».

— Ты не мильгетанин, и одежду носишь как пастух, и говоришь на нашем языке.

— Это верно. Здесь для меня вторая родина. Уеду, буду тосковать по тундре. С людьми здесь сроднился. Бывает, и нет человека рядом, а будто чувствуешь, что он сейчас делает, что думает. Едешь вечером по тундре и знаешь, кто на какой реке держит оленей. Даже догадываешься по времени, что делает — отдыхает в палатке или обходит табун. Дорогу каждой бригады за месяц вперед знаешь. А сам все идешь, идешь. И вот пришел! — вдруг закончил Васильев и заплакал.

Первое мгновение никто не решался его остановить. Потом Гелхани сказал:

— Энпеклав! («старик» по-корякски). Зачем ты жалеешь, что прожил жизнь с нами?

— Нет,— тихо ответил Васильев.— Я не жалею. Я плачу потому, что не могу прожить ее еще раз.

Уезжая после окончания Московского университета на Камчатку, я мечтал, если удастся, заняться научным исследованием оленей. Я отправлялся в дальнюю дорогу с безмятежным ощущением человека, закончившего одно большое дело и еще не начавшего нового, да и не знающего, каким оно окажется.

Моей попутчицей была веселая западносибирская лайка Бэла. С ней мы пересекли страну от Москвы до Владивостока. Она терпеливо ожидала меня во дворе Дома колхозника, пока я добывал билет на теплоход. Наша пара — я с рюкзаком, в кожаной куртке, шляпе и впереди на цепочке Бэла — неизменно вызывала улыбки. Сколько советов услышал я на корабле от зрителей, когда уговаривал бедного пса: «Можно, Бэла, можно». А она царапала палубу, скулила, не в силах забыть о правилах поведения московской комнатной собаки.

---

[1] Все пояснения в скобках даны автором.

Вместо положенных пяти летных часов я добирался на север Камчатки четыре дня. И ночуя в холодных аэровокзалах, я, кажется единственный из пассажиров, не только не выражал, но и не ощущал нетерпения. Жизнь была прекрасна — сбывались все мечты: море, самолеты, Камчатка. Вот так — в шляпе, с собачкой на цепочке — я и появился у окружного управления сельского хозяйства. На десять минут работа его была прервана — все высыпали посмотреть на московскую собачку.

И вот я перед начальником Иваном Ивановичем Савельевым — грузным, по-отечески суровым. Он листает мои документы, расспрашивает о том о сем. И вдруг спрашивает:

— Директором совхоза сможешь?

Я еще не знаю, что среди специалистов и руководителей хозяйств округа мои ровесники составляют большинство. Молоды и зоотехники, и врачи, и следователи, и капитаны больших кораблей. Я не возражаю, и Иван Иванович не глядя бухает несколько раз кулаком в стенку позади себя. Приходит начальник отдела кадров.

— Готовь приказ, вызови Васильева,— Иван Иванович заглядывает в окно — что с небом.— Пусть закажет самолет и к обеду будет здесь.

На следующий день уже в Хаилино, главном поселке совхоза, мы подписываем с Васильевым акт о передаче. Мой предшественник — старый северянин, пожилой больной человек. Он торопится уехать, и задерживать его неудобно. Так закончилась для меня недолгая беззаботная жизнь вчерашнего студента.

Васильев согласился несколько дней побыть вместе со мной, ввести в курс дела. Выпал первый снег, и Васильев решил устроить прощальные бега. Весть об этом быстро облетела поселок, и в назначенный день десятки собачьих и оленьих упряжек устремились к месту праздника.

Все было для меня внове: и езда на нарте, и яранги, и сложный традиционный обряд бегов. Рядом с Васильевым я чувствовал себя не только неумелым, но и очень молодым. Хотелось поскорее стать таким же, как он, бывалым оленеводом. Впоследствии, пересекая необъятные просторы пастбищ нашего совхоза, я часто вспоминал его и думал, что когда-то и он смотрел на

эти горы, реки, озера, может быть, ночевал в тех же местах, и ощущение преемственности, вечности нашего пастушеского ремесла охватывало меня.

С отъездом Васильева на меня навалился ворох административных обязанностей. Приближавшаяся зима требовала ускоренной заготовки дров, завоза горючего, завершения строительства, ремонта тракторов. Все это было мне мало знакомо, но и найти более или менее правильные решения было не так-то уж трудно. Прораб, главный бухгалтер, завхоз — люди бывалые и знающие — как будто неплохо справлялись со своими обязанностями. Главное было скоординировать так работу, чтобы успеть подготовиться к зиме.

Иное дело — оленеводство. Биологическое образование помогло мне довольно легко справляться с обязанностями зоотехника: правильно планировать, сколько самок, самцов и молодняка нужно оставить в стадах к концу года и сколько сдать государству, поделить между пастушескими бригадами зимние пастбища, решать другие вопросы. Но я стремился поскорее увидеть оленей на пастбище, познакомиться с повседневной жизнью пастухов.

Вдвоем с Николаем Чилькиным мы поехали в стада. Накануне он привел из транспортного стада две пары оленей — для себя и меня. Старик Тналхут одолжил мне нарту и упряжь. Днем я заканчивал бесконечные дела и только вечером, нарядившись в торбаза и кухлянку, пришел на край поселка, где Чилькин уже ждал с оленями. Тналхут дал мне в левую руку элоэль (тонкий березовый хлыст с костяным наконечником). Подражая Чилькину, я сел верхом на нарту, и тотчас же он тронул своих оленей вперед. Нагулявшие за лето жир и силу олени сразу пошли вскачь, унося нас прочь от поселка. Лишь стук движка на электростанции еще долго слышался позади.

Первые минуты я едва удерживался на нарте. Иногда мне казалось, что она летит по воздуху. Вероятно, так оно и было — олени увлекали ее с одного гребня сугроба на другой. Боясь упасть, я сильно натянул поводья, и олени вдруг остановились, потом повернулись ко мне мордами. Чилькин пропал впереди, и я остался один на один с двумя рогатыми зверями, совершенно не представляя, как заставить их снова повернуться ко мне хвостами и бежать вперед. Теперь, вспоминая эти

минуты, я понимаю, что надо было вывести правого оленя за повод на дорогу, подтянуть нарту, сесть, а потом толкнуть оленей вперед. Вместо этой нехитрой процедуры я размахивал поводьями и элоэлем, лишь пугая бедных животных. Вернулся Чилькин, развернул оленей в нужную сторону, поставил их «в затылок» за своей нартой, и они послушно тронулись вслед за ним.

Немного устав, олени пошли медленнее, я получил возможность освоиться на нарте, последить за Чилькиным. К полуночи я почувствовал себя уже заправским ездоком и сделал первую попытку обогнать Чилькина. Тотчас мой элоэль воткнулся в снег и обломился. Чилькин молча подвязал жилкой сломанный кончик, и мы тронулись дальше. До ближайшего стада было километров шестьдесят. Мы приехали туда утром, и за ночь я успел доломать и свой элоэль, и запасной Чилькина, так что ему пришлось вооружить меня простой рогатиной из ольхи.

Было раннее утро, еще не светало, но на лай собак из больших меховых палаток высыпало множество людей. Некоторые из пастухов еще не видели меня. Понятно, что новый директор вызывал всеобщий интерес.

Начиналась осенняя корализация — большое событие в жизни совхоза. Пастухи, собравшись из разных бригад, должны были построить из жердей и веток корали, загнать в них по частям каждое стадо, просчитать всех оленей, выделить тех, которые оставались зимовать и которых следовало сдать государству. В этой бригаде кораль только что был построен, и с утра предстояло начать работу с оленями.

Едва я успел согреться и поесть горячего мяса, которое поставила передо мной заботливая хозяйка, как кто-то из пастухов сообщил о приближении стада. Оставив еду, я вместе со всеми выбрался наружу. Впереди ехал пастух на оленях. За ним на довольно длинном аркане шел ездовой олень, а дальше метрах в десяти тянулись спокойно олени, лишь время от времени нюхая снег. Позади стада шли на плетеных лыжах два пастуха, негромко посвистывая и подгоняя отстающих.

Мы спрятались с обеих сторон от входа в кораль, чтобы преградить стаду путь назад, когда оно окажется в западне. Передние олени уже прошли было мимо нас, когда задние насторожились, встали. Пастухи попробовали их поторопить, но лишь усилили этим тревогу. Часть передних оленей повернула вспять. Через какую-нибудь минуту табун вихрем закружился на небольшой площадке перед входом в кораль. Поднялась снежная пыль, слышался мерный гул от тысяч переступающих ног, иногда прерываемый треском столкнувшихся рогов.

Пастухи, подгонявшие стадо сзади, размахивали арканами, кричали. То и дело из стада выскакивали олени и пробовали прорваться мимо людей в тундру, туда, откуда пришел табун. Тотчас же за ними устремлялись остальные олени, потом все стадо. Метров через двести — триста пастухам удавалось остановить табун, снова подогнать его к коралю. Словно завороженный, смотрел я на мятущуюся массу животных. Пока что все они были для меня одинаковы.

Тем временем бригадир Иван Петрович Долганский резко сменил тактику. Пастухи перестали кричать, давая оленям немного успокоиться. Потом Долганский один встал метрах в пятидесяти позади стада и начал, тихонько посвистывая и покрикивая, гнать оленей. Он действовал по-разному: на одних животных не обращал внимания, даже если они и отходили довольно далеко в сторону, зато на других кричал, замахивался арканом, едва они на полкорпуса высовывались из табуна. На чем основывались его действия, мне еще не было понятно, но он один сделал то, чего не удавалось десятку молодых. Табун постепенно все глубже заходил в кораль. Настал момент, когда с обеих сторон входа побежали навстречу друг другу пастухи. Олени шарахнулись было в глубь кораля. Не найдя выхода, повернули обратно, натолкнулись на густую цепочку людей. Несколько минут табун в смятении кружил на месте, потом начал успокаиваться, олени перешли на шаг.

До начала корализации я составил план сдачи оленей государству. Сейчас мы наскоро обсудили его с бригадиром. Он хотел оставить побольше быков-производителей. Много их погибло осенью во время брачных боев, когда олени сражались за главенство в стаде, когда, истощив свои силы, отставали от стада в тундре. Конечно, я во всем соглашался со старым оленеводом.

Начался лов оленей. Человек пять опытных пастухов вошли с арканами в глубь кораля, а Долганский указывал им то на одного, то на другого оленя. Бросали пастухи аркан с изумительной точностью. В такой толчее и мелькании рогов, казалось бы, ремень неминуемо должен был цеплять сразу нескольких оленей, но он, точно длинная рука пастуха, выхватывал из массы бегущих нужного. Иногда Иван Петрович пояснял мне, почему берет того или иного оленя: болеет, худой — не переживет зиму, эта важенка бросила олененка весной и т. п. Человек пять молодых пастухов брали пойманных оленей за рога, выводили их за линию оцепления и отпускали в тундру. Там олени собирались возле привязанных поодаль ездовых быков. Один из пастухов дежурил здесь и время от времени собирал стадо покучнее...

В компании с тремя пастухами-учетчиками я подсчитывал отпущенных оленей. Пока что я мог лишь вести общий счет, а пастухи отмечали отдельно телят, двухлеток самцов и самок, важенок и так далее. Не стесняясь, я то и дело спрашивал их о возрасте проносящихся мимо оленей. Хотелось как можно лучше узнать животных, научиться так же, как пастухи, с первого взгляда различать их по облику, рогам, росту.

Так прошло два часа. Постепенно сидение на месте начало надоедать. Очень хотелось попробовать самому повести оленя за рога. Некоторые быки едва не поднимали пастухов над землей, и борьба казалась мне очень заманчивой. Не выдержав, я сбросил кухлянку и, оставшись в одном свитере, пошел в кораль. Один из молодых пастухов занял мое место учетчика.

Первый олень таскал меня по загону как хотел. Уж не знаю, кто кого выводил. Временами казалось, что эти пятьдесят метров никогда не кончатся. Все же я переупрямил его. А второй, третий пошли уже легче. Оказалось, что вовсе и не нужно было стараться переупрямить оленя. Наоборот, хитрость была в том, чтобы использовать его же собственное стремление бежать от опасности. Со временем я научился схватывать оленя только за один рог, чуть повернув его голову к себе. Тогда он бежал прочь от меня и... из кораля. Оставалось лишь мчаться вслед за ним огромными прыжками.

Намучившись с оленями, я едва дождался, когда

работа закончится. Часа за три мы вывели голов триста, а это было нелегко. Потом нужно было ждать, пока пастухи угонят отобранных оленей. Тогда мы просчитали оставшуюся часть. Все это заняло еще часа два, и я замерз так, что едва не стучал зубами. Хотя у меня была двойная кухлянка из черно-белых неблюев [1], оставшаяся в наследство от прежнего директора, мокрые рубашка и свитер, словно ледяные, прилегали к телу.

В палатке пастухи принялись переодеваться. Промокшие кухлянки, брюки, чижи (меховые чулки) они бросали, не заботясь о дальнейшей судьбе одежды. Дело женщин было просушить, починить ее. Жены двух пастухов, жившие в бригаде, занимались этим. Я тоже заменил чижи на сухие, но больше меховой одежды у меня не было. Я достал телогрейку и надел ее на голое тело, чтобы можно было просушить рубашки.

За разговорами, горячей олениной, чаем незаметно пролетел вечер. Железная печка посреди палатки накаляла воздух так, что большинство пастухов сидели по пояс голые. Меховые палатки появились в совхозе совсем недавно. Их пропагандистом на Камчатке был заслуженный зоотехник РСФСР П. Е. Миронов. Палатки сразу полюбились пастухам — просторные, с железной печкой и окнами. Они имели столько же свободного места, сколько и большая чукотская яранга, но в них было тепло и недымно.

Последующие два дня мы сортировали оставшуюся часть табуна. Потом на собрании подвели итоги. У Долганского они были очень хорошие. Каждый пастух просил слово. Некоторые говорили всего несколько фраз, но чувствовалось, что люди относятся к словам очень серьезно.

Утром все проснулись рано, часа за два до позднего осеннего рассвета. Пили чай, разговаривали, курили. Я пытался еще подремать, сильно устав накануне, но

---

[1] Шкурка олененка от рождения до двухнедельного возраста называется «пыжик», от двух до шести недель — «пентюх». В июле — августе шкурки оленят (в это время им два-три месяца от роду) имеют ровный, густой короткий волос и называются «неблюй». К ноябрю волос достигает максимальной длины и густоты. В дальнейшем у оленей отличается лишь зимний и летний наряд. Летний — с очень коротким, негустым волосом.

пришлось тоже прилечь у низенького столика. Наталья налила мне в кружку крепкого чая. Пастухи любили заваривать плиточный чай. Наутро с непривычки во рту было кисло от него, и лишь несколько новых глотков снимали неприятный привкус и восстанавливали бодрость.

Когда рассвело, люди уехали в табун ловить ездовых оленей. Лишь к полудню наша многочисленная компания наконец собралась. Все двигались неторопливо, занимались своими делами. Но вот один, другой стали запрягать оленей, и тотчас началась спешка. Я уже знал, что олени бывают очень неспокойны, когда хоть одна нарта тронется в путь, торопился и оттого еще сильнее путался в упряжи, пока мне не помогли. Через десяток минут все уже стояли рядом с нартами, намотав поводья на руки с элоэлями в руках.

Степан Элевье, что был первым, крикнул: «Амто?» Ему тотчас ответили: «То-гок». Степан толкнул своих оленей, а за ним вскачь, вспарывая полозьями нарт снег, пошли в тундру и остальные упряжки. Олени не слушали меня, сколько я ни натягивал поводья и ни тормозил ногами. Еще на виду палаток, там, где нарты одна за другой скатывались с берега на слабо заснежный лед реки, нужно было круто повернуть. Моя нарта ударилась о снежный заструг и перевернулась. Красный от смущения, не зная, как справиться одновременно с оленями, нартой, наползавшей на глаза шапкой, элоэлем, поводьями, я возился на злополучном повороте, пока рядом не затормозил старик Тналхут. Он взял моих оленей за повод, вывел на дорогу и, едва я сел, отпустил. Галопом моя лихая пара догнала уходивший вперед аргиш (караван оленьих нарт) и пристроилась за последней нартой. Впрочем, как и в первый раз, немного устав, олени успокоились. Потянулись нескончаемые снежные километры.

Скучать мне не приходилось. Ровных мест было немного. Чаще ехали склоном или пересекали большие и малые хребтики. Подражая товарищам, я то вскакивал с нарты и бежал рядом, облегчая оленям работу, то изо всех сил нажимал на тормоз — изогнутый железный крюк, который бороздил снег, удерживая нарту на спусках. Там, где снег был порыхлее, нужно было подгонять оленей элоэлем. Очень скоро я взмок и устал. А дороге все не было конца.

Уже в сумерках мы остановились на отдых. Снова я неумело возился с упряжью. Потом отвел оленей на вершину сопки, где ветер сдул снег, и привязал на веревку кормиться. Тем временем пастухи уже развели костер, вскипятили чай. Ели юколу (вяленая рыба). Она была по-осеннему мягка и жирна. Потом запахла поджаренная на углях рыбья шкурка.

Нужно было еще подождать, пока олени подкормятся. Сидя на снегу, пастухи курили, а я ходил вокруг, потому что мерз. Мороз все крепчал, и моя пропотевшая спина давала о себе знать. Я завидовал пастухам и клялся, что разобьюсь, но заведу одежду не хуже, чем у них. Надев на голое тело мехом внутрь кухлянку, они не боялись мороза. Влага тотчас впитывалась высоким и густым оленьим волосом. Мои же рубашки и свитера, словно панцирь, стягивали спину и грудь.

Большинство пастухов было одето только в одну, но очень толстую и пышную кухлянку из октябрьского олененка, в брюки из августовского неблюя и торбаза (меховая обувь) до колен (с чижами внутри). Поверх кухлянки у всех матерчатые камлейки (балахон с капюшоном, защищающий от ветра) самых разных цветов, но обязательно с контрастными оторочками у плеч вокруг рукавов и у подола.

Вернувшись в Хаилино, я постарался завести себе такую же одежду, но, увы, опоздал. К декабрю наряд пастухов изменился. На тело стали надевать тонкую неблюевую рубашку мехом внутрь, а поверх нее вторую — мехом наружу. Вместо тонких брюк все оделись в толстые, из октябрьского олененка, штаны, а некоторые сверху надевали еще вторые, потоньше, мехом наружу, обычно белые или пестрые. Торбаза теперь стали носить короткие — чуть выше щиколоток, чтобы легче было менять отпотевшие чижи. Сменились и шапки — вместо легкого, мехом внутрь, хорошо дубленого, не боящегося сырых осенних пург малахая двойные пыжиковые с богатой оторочкой из выдр и росомах.

Но и это был лишь временный наряд. Мне пришлось обзаводиться одеждой для ранней весны, когда на реках появляется наледь, а яркое солнце быстро жжет мех; для поздней весны, когда кругом разлив; для жаркого лета и для сентября, когда сутками не

возвращаешься к палатке, собирая разошедшееся стадо; для осени — еще бесснежной, но уже с заморозками. В каждый сезон нужна была особая одежда. Народная культура здесь достигла высокого совершенства. И через год я уже не удивлялся, когда одним из главных достоинств невесты пастухи называли умение шить одежду. В самом деле, без одежды мужчины не могли бы работать в стаде. По той же причине они нисколько не сомневались в равенстве своего труда и женского. Без того и без другого в тундре не выживешь.

Пастухи были одеты не только по сезону, но и очень нарядно. Кухлянки, шапки, рукавицы, брюки, торбаза — все было расшито бисером, увешано кистями и кисточками из крашеной нерпичьей шерсти, бусами и медными побрякушками. Это было и экзотично, и красиво. Мне хотелось быть таким же красивым и ловким. Представления коряков, чукчей и эвенов о том, кто выглядит молодцевато, браво, полностью совпадали с нашими. Кроме нескольких стариков, нарочито сохранявших неторопливость, благодушие и в тон одетых в широкие, теплые уютные одежды, пастухи были в коротеньких кухлянках, туго схваченных на поясе одним, а то и двумя поясами. Брюки, торбаза сшиты в обтяжку, так, чтобы не стеснять людей при ходьбе по рыхлому снегу. И кисточки, вившиеся по ветру, искрившиеся бусы и бисер лишь подчеркивали их гибкость и стремительность движений.

Со временем, подружившись с несколькими искусными мастерицами, я обзавелся одеждой «не хуже, чем у людей». Из Москвы родные и знакомые посылали мне бусы и бисер. На время я стал одним из крупных потребителей бисерной промышленности. Впрочем, московские знакомые жаловались, что найти что-то похожее на присланные мной образцы в Москве нелегко. Требования к украшениям на Камчатке были очень высокие. Бусы, кованые украшения из меди передавались из поколения в поколение.

В первые дни работы в табунах, пережидая в палатке пургу, когда все маются от безделья, я не раз внимательно рассматривал украшения на одежде окружавших меня людей, их пояса с медными пуговицами, наборы ножичков на поясе (большой — для рубки рогов, дров, убоя оленей; средний — для резки мяса во

время еды, починки упряжи; совсем маленький — для сверления дырочек в дереве, починки нарты), кожаные мешочки для спичек, табака, точильного камешка. У каждого пастуха сзади висела медная трубочка на кожаном ремешке. В ремешок были воткнуты граненые иглы и уложены жилки для починки одежды. Некоторые щеголи носили на поясе еще и щипчики для выщипывания бороды и усов, для доставания соринок из глаз (ломкая оленья шерсть часто засоряет глаза).

Впрочем, мой интерес никому не казался нескромным. Это было обычным делом — рассматривать вещи друг друга, потому что все они были самодельными и у каждого хоть немного отличались. Точно так же общий интерес вызывали часы. То и дело ими менялись. Иной раз они снова возвращались к первоначальному владельцу. Одни такие часы — «Маяк», обойдя по совхозу всех, снова вернулись ко мне и служат до сих пор.

За месяц корализации дважды задувала большая пурга. По три дня палатка содрогалась от порывов ветра. Снаружи входили обсыпанные снегом люди, протягивали руки к печке, потом начинали выбивать из одежды снег. Раз в день несколько пастухов уезжали сквозь пургу в табун и привозили оттуда молодого олешка. Здесь же в палатке его разделывали. Вновь закипал огромный котел с мясом.

Основным занятием большой компании пастухов в это время были разные поделки. Почти у каждого среди вещей на нарте имелись куски моржового бивня или особо прочные куски рога, срезанные осенью у быков, куски изогнутой березы, рога снежных баранов. Хозяева — пастухи той бригады, где нас застала пурга,— втаскивали в палатку целые ворохи стволиков берез, расколотых на длинные бруски. Из них очень острыми ножичками выстругивались элоэли. При конечной отделке под рукой мастера вились уже не стружки, а деревянные нити. Хлысты с карандаш толщиной можно было согнуть в кольцо. Из-за частых обломов приходилось возить с собой запасные элоэли, так что потребность в них всегда была велика.

Из бараньего рога делали круглые бобышки, надевавшиеся на толстый конец элоэля, чтобы перенести сюда центр тяжести. Из моржового бивня вырубали изящные гуськи, которые надевались на тонкий конец

элоэля. Его острый конец поторапливает оленей в пути. Из рога и кости вытачивали мелкие детали для оленьей упряжи, в которых я тогда еще не слишком хорошо разбирался. Изогнутые стволики берез нужны были для изготовления копыльев от нарт (дугообразные стойки, на которых держится сиденье нарты).

Каждая такая поделка доводилась до блеска и изящества. Ее вертело множество рук, так что каждый старался не подкачать. Конечно, сравниться со стариками в мастерстве молодежь не могла, однако ребята пытались. Заразился этим увлечением и я. Митрай, старый пастух, подарил мне маленький, почти трехгранный ножичек. Кусочки кости и рога были в изобилии. Скоро стало привычкой каждую свободную минуту не торопясь скоблить какой-нибудь «огрызочек», пытаясь превратить его в полезную вещь. Находя на пастбище деревянные или костяные стружки, я легко представлял себе, как сидел здесь пастух, поглядывая на стадо, и по привычке скоблил и скоблил ножичком кусок рога или дерева.

При встрече на дороге обрадованные люди иной раз обменивались ножами, элоэлями, шапками. В них словно отражалась часть жизни, мастерства людей. Случалось, пастухи показывали мне красивую вещицу, сделанную за пятьсот километров отсюда и подаренную при встрече. И в тяжелую минуту, когда хоронили товарища, пастухи бросали в погребальный костер свой лучший нож, копье, табакерку, словно отдавая другу в последнюю дорогу кусок самого себя.

Излюбленной поделкой были выбивалки — изогнутые, сантиметров тридцать длины куски рога, изящно обточенные, с дырочкой для ремешка, и насечками. Они болтались на нартах, лежали у входа в палатки. Очень скоро и я привык перед входом в палатку тщательно выбивать из одежды снег. Он набивался под шерсть, смерзался в ледяные комочки и, обтаяв в тепле, мочил слабодубленую кожу, портил одежду.

Выбивали одежду после просушки так, что на снег оседала пыль из обломанных кончиков оленьих волос. Воздушная полость внутри оленьего волоса делает его очень теплым. Известно, например, что до минус тридцати градусов у оленей не учащается дыхание, не расходуется больше жира. Для них это приятная температура. Но полый волос одновременно очень ломок.

Шерсть облачком осыпается, когда снимаешь кухлянку. Правда, мех оленей настолько густ, что кухлянки хватает года на два-три. Ломкость оленьего волоса делает одежду гигиеничной, с кончиками волос удаляется жир, пот, грязь. Вечером, когда разморенные жаром от печки пастухи оставались по пояс голые, я никогда не видел ни прыщавых, ни засаленных тел. Со мной иногда ездил по стадам наш доктор — Игорь Прокопец. Он тоже с удивлением отмечал, что люди, живущие в поселке, носящие белье, бывающие в бане, выглядят подчас куда менее привлекательно, чем пастухи, постоянно работающие в тундре.

В мягкую оленью шкуру укутывают младенцев сразу после рождения. Шкуры служат простынями и одеялами для взрослых (чукчи спят, раздевшись догола). Из шкур делают яранги и палатки, шьют одежду и мешки. Кожу натягивают на бубны.

Пурга и длинные дороги затянули нашу работу почти на месяц. Переезжая из бригады в бригаду, мы наконец начали приближаться к Хаилино. Последняя бригада, где мы работали, находилась уже километрах в семидесяти от поселка. Однако, как назло, опять задула пурга. Дня два мы пробовали ее переждать. Потом начали работать, невзирая на мокрый снег и ветер. Время от времени порывы ветра усиливались настолько, что становилось трудно различать выбегавших из кораля оленей. Тогда приходилось делать перерыв. Повернувшись спинами к ветру, сидя на корточках, все молча ждали, пока пурга немного поутихнет.

Наконец и эта работа закончилась. Еще один пурговой день ушел на подведение итогов работы бригады, собрание, отдых. Время тянулось очень медленно. Ночью мне не спалось. Несколько раз я выходил наружу, повернувшись спиной к ветру, смотрел в небо. Иногда казалось, что оно светлеет и пурга скоро поутихнет. Но палатка снова начинала содрогаться, сквозь мельчайшие щели пробивалась снежная пыль.

Перед отъездом в табуны мне несколько раз напоминали из окружного управления, чтобы мы не запоздали с отчетом. Я представлял себе, какие громы сейчас обрушиваются на мою голову. Кроме того, с первого декабря в Тиличиках мы должны были начать сдачу оленей государству. Нужно было командировать

туда людей, и в том числе тех, которые помогали на корализации. Я понимал, что мясосдача — дело нелегкое, требовавшее четкой организации, и легко представлял себе, как суетятся сейчас кооператоры — ремонтируют цеха на забойном пункте, набирают людей для обработки туш, как волнуется начальство. Этим мясом предстояло питаться тысячам людей и в нашем, и в соседних районах, и в Петропавловске-Камчатском. А я между тем не знал, где находятся два стада оленей, предназначенных для сдачи, и готов ли совхоз для этого важного дела.

Следующий день не принес изменений. Было все так же тепло и сыро, дул, не прекращая, северо-восточный ветер, неся с собой тяжелые облака, туман, снег. Стоило отойти на полсотни метров в сторону от утоптанной площадки вокруг палаток, как люди проваливались в рыхлый снег по пояс.

На следующее утро я сказал, что ждать больше нельзя, мы должны ехать. Но кажется, никто не верил в это «нельзя». «Никуда не уедешь,— спокойно возражал Коля Чилькин.— Скоро обратно вернешься».

Никакие мои уговоры, что нас ждут, не действовали. Быть может, я и согласился бы с доводами товарищей, но один из молодых пастухов — Толя Ильтагин сказал мне: «Езжай сам, мы не поедем».

— Как так не поедешь? Раз надо, значит, поедем.

— А я не поеду.

— Подожди, это кто будет решать? Ты или я?

— Ты за меня не решаешь,— буркнул Толя.

Он был здоровенный и красивый парень, этот Толя Ильтагин. Во время корализации я любовался им — он владел арканом, словно музыкант своим инструментом. Но теперь, когда наш спор слушали пастухи и их сочувствие было явно не на моей стороне, я ни за что не хотел уступить.

— Пойдем-ка, Анкуча, поймаем моих оленей,— сказал я бригадиру.— Я все равно сейчас уеду, а кто останется — пусть пеняет на себя.

Анкуча, коренастый, пожилой эвен, лицо которого из-за выбитых передних зубов казалось мне грозным, молча поднялся и вышел вслед за мной из палатки. Потом по узкой тропинке, что вела в табун, тронулось еще несколько человек. В полном молчании мы добрели до стада. Здесь Анкуча поймал старого-старого ездового оленя, привязал его к кусту. Потом мы выстроились шеренгой и начали прочесывать стадо, подгоняя ездовых оленей к привязанному. Здесь нужно было очень осторожно, пригибаясь подойти и, обняв за шею оленя, привязать. Как только таким способом удалось поймать моих ездовых, я надел на них уздечки и повел к лагерю. Кто-то из пастухов помог мне запрячь оленей в нарту, и, ни на кого не глядя, я тронулся вперед.

Первые несколько километров мои олени бежали довольно дружно по протоптанной за время корализации дорожке. Потом началась целина, они пошли шагом, то и дело проваливаясь в снег по брюхо. Через несколько минут я понял, что так никуда не уеду. В бессильной ярости я стоял по пояс в снегу возле нарты. В одной из бригад мне подарили плетеные лыжи, и я, надев их, попробовал идти впереди оленей. Вряд ли я прошел бы так больше двух-трех километров, но тут меня догнал старый Митрай, за ним Эхевьи, Оммат и другие пастухи. Стороной, дико гикая на оленей, в ярко-розовой камлейке пропахал снег Ильтагин.

Чтобы проложить в снегу борозду длиной семьдесят километров, нам потребовалось четыре дня, хотя по хорошей дороге этот же путь проходят за один. Первый день, пока олени еще были не слишком усталы, нарты поочередно шли впереди, пробивая дорогу. Потом олени один за другим стали отказываться идти целиной. Правым у меня был крупный белый олень. Когда я пытался заставить его идти вперед, он вставал на дыбы и бил меня передними ногами.

Через два дня лишь три упряжки, меняя друг друга, шли впереди. Это были олени старых пастухов, крупные, с мощными, необрубленными рогами. Я уже знал, что рога не трогают лишь у очень спокойных и послушных оленей. Особенно красивы были олени у Оммата. Покорные воле хозяина, они по часу прыгали вперед, потому что идти по такому рыхлому снегу было не под силу даже длинноногим оленям. Когда я поделился с соседями своим восхищением по поводу оленей Оммата, кто-то коротко сказал: «Беговые!»

До этого в моем представлении беговые олени были неукротимыми, своенравными животными. А оказалось, что настоящий беговой олень — это само послушание, чуткость. Позднее, зимой, я узнал, каким тру-

дом достигается эта покорность, способность идти вперед, пока хватает сил.

Никто не напоминал мне о неудачном решении. Как и обычно, жизнь быстро приобрела какой-то определенный ритм. С утра мы часа три пробивались вперед. Потом пили чай и кормили оленей. В глубоком снегу они раскапывали ямы, добывая ягель. Минут через сорок олени уже отдыхали, очевидно вполне довольные «обедом». Снова до вечера уныло тащились с бесполезными попытками очистить полозья от налипающего снега, с бесконечными остановками, пока впереди пробивать дорогу выезжала из строя новая нарта. Уже в сумерках останавливались на ночлег, раскапывали в снегу глубокую яму для костра, кипятили чай и варили мясо. Потом каждый набрасывал рядом с нартой немного прутьев кустарника, чтобы не подтаивал снег, и ложились спать.

Я возил с собой олений кукуль, удивительно теплый и просторный. В первые свои ночевки на снегу — месяц назад — я залезал в него во всей одежде, как был. Кто-то из пастухов посоветовал мне снимать верхнюю одежду. В конце концов я начал спать в одних трусах. Неприятно было только раздеваться вечером под порывами ветра со снегом и ужасно не хотелось вылезать из мешка утром. Но ночью я блаженствовал: набросив на плечи верхнюю кухлянку и уткнувшись носом в теплый олений мех, принимался смотреть сны. То ли от мясной пищи, то ли от уюта они приходили всегда радостные и красочные.

Как выяснилось, все пастухи, кроме меня, попадали в такие передряги. Пурговать было делом привычным. Правда, вспоминали, как семь человек погибли на реке Пылге, не сумев выбраться за полмесяца из снежного плена. Но это был исключительный случай.

Наконец на пятый день пути чуть-чуть стал крепнуть наст. Сначала понемногу, по нескольку метров, олени проходили не проваливаясь. Потом таких участков стало больше. К тому же дорога пошла по льду реки. Полозья оставляли на влажном снегу серые, быстро наполнявшиеся водой полосы. Невзирая на мокрые брызги из-под копыт оленей, мы устраивали маленькие гонки. Временами по десять нарт неслись в ряд. Все отчаянно стегали оленей, не желая уступить.

Потом где-то впереди появлялась полынья, и приходилось снова выстраиваться в цепочку.

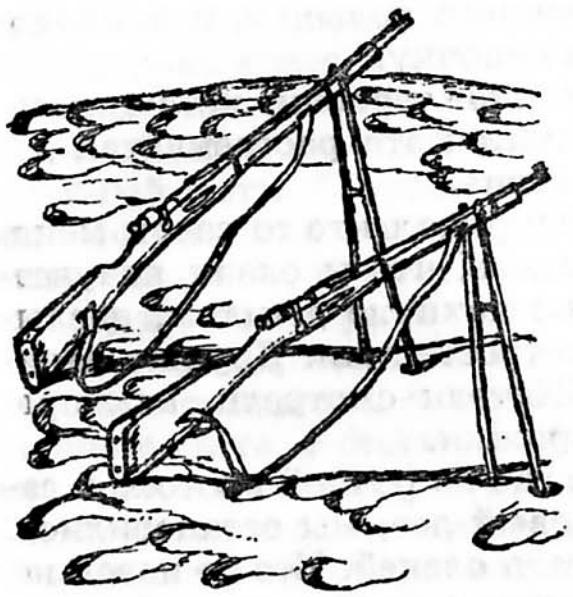
Уже в сумерках, когда всякое терпение истощилось, когда не верилось, что кончится эта растреклятая дорога, вдруг вдалеке засиял огонь.

— На стройке свет! — закричал кто-то сзади меня. Всех охватил восторг, казалось, что и олени почувствовали конец пути. Вот уже пахнуло дымком, послышался стук движка на электростанции. Дружно залились хаилинские собаки. Жители смотрели, как проносятся по улице оленьи упряжки.

Посредине поселка, там, где по речной протоке к самым домам подходил ольховый лес, мы остановились. Пастухи принялись выпрягать оленей. Кто-то повел их на сопку, там ветер сдул немного снег и ягель был доступнее. А я впрягся вместо оленей в нарту и потянул ее к дому.

У крыльца пурга намела огромный сугроб, так что и дверь нельзя было открыть. Одолжив у соседей лопату, я принялся за работу. В комнате было холодно, через маленькую дырку у края стекла на пол нанесло снегу. Он лежал косой горкой. Печка дымила и никак не хотела разгораться. Пришел сосед — одноглазый Эвгур. Поздоровался, посмотрел, как я вожусь с печкой. Потом притащил сухих смолистых мелко порубленных дров. Огонь загорелся сразу, но дыму в избе не убавилось. Часа три я еще сидел у Эвгура, пил чай, развалясь на шкурах, постеленных на пол. Старый пастух жил как привык. И я с удивлением почувствовал, что и мне такая обстановка уже стала привычной и даже приятной. Не хотелось идти в свою дымную квартиру, ставшую без хозяина холодной и неуютной.

СБОР УРОЖАЯ



Накануне начала забоя мы обсуждали с председателем рыбкоопа Зубко все условия сдачи и приема оленей. До восьми вечера мы так и не смогли договориться и поехали к председателю райисполкома Толстову. Он, как видно, здорово устал за день, побледнел, даже как-то осунулся, но слушал наш шумный разговор, как обычно, терпеливо и внимательно.

— Завтра забой мы не начнем ни за что. Вы что хотите? Чтобы про меня вся область говорила — Зубко сорвал, Зубко не смог! Ну нет, со мной такого не было и не будет.

— Табуны не могут ждать, Василий Никифорович,— доказывал я Зубко.— Хочешь не хочешь, а пастбищ здесь недостаточно. Мы на каждой минуте теряем килограммы. Кто их возместит совхозу?

— А кто мне возместит простой кораблей? Иди сюда (он потянул меня к окну). Ты видишь на рейде огни? Два корабля я уже разгружаю и третий на подходе. Откуда я возьму людей? Ты мне телеграмму не давал, что табуны на подходе! Угоняй их, корми сеном, хочешь, я тебе своего дам, и никаких разговоров.

— Так дело не пойдет. Олени сена не едят. Пастухи мучались, гоняли по такому снегу. Я им передышки не давал, лишнего глотка чаю не позволял выпить не для того, чтобы Зубко сейчас оленей на ветру морозил...

Толстов слушал нашу перепалку молча. Наконец заговорил и он.

— Ну, погоди, Леонид, не кипятись. И ты, Василий Никифорович. Давайте по порядку разберемся. Олени есть? Забить их есть кому?

— Мои пастухи могут.

— Отлично, а я им заплачу как рабочим. И все будут довольны,— сказал Зубко.

— Обдирать есть кому? Ты же посылал весной людей в город на комбинат учиться? Что еще? Грузчики, шоферы, бухгалтера?

— Все есть, а на чем я их повезу? Цех в двадцати километрах, дорога передута,— снова вступил Зубко.— Ну хорошо, я сейчас завожу трактор, цепляю к нему две машины и везу людей. Буду портить машины, все равно. Раз так стоит вопрос, за мной дело не станет.

Толстов устало улыбнулся и сказал:

— Ну, видите, как быстро договорились. Давайте и дальше так. Дело это важное не только для района, но и области. Как-никак, свое, не привезенное мясо. Языки-то будут?

— Если директор пригнал оленей с языками, то будут,— засмеялся Зубко.

Мы вышли с Зубко почти обнявшись. За немногие дни знакомства я его искренне полюбил. Был Василий Никифорович человеком шумным, но болел за дело всей душой, а работа у него была очень трудная — кормил и одевал полрайона.

— Два твоих вездехода ты мне даешь. Люди из Ветвея чтобы к утру были на месте. Не приедут — не начнем работы.

— Ладно, все сделаем, Василий Никифорович. Поедем-ка лучше на нашей совхозной технике, а то твои машины и впрямь больше годны на то, чтобы их трактором таскать.

Мы втиснулись в тягач. Была эта машина мощная и ревела почти так же, как танк. Правда, по снегу она ходила не очень лихо — «садилась» на живот и беспомощно гребла гусеницами. Водитель Толя Савельев, приехавший к нам в совхоз по комсомольской путевке, завел машину и лихо, дергая за рычаги, повел ее, не разбирая дороги, через сугробы, по льду бухты на ту сторону, к «хозяйству Зубко». Отсюда я забрал группу рабочих и поехал на забой.

Еще осенью мы с Зубко бродили здесь, намечали, где расположить кораль, цех разделки, сарай для заморозки туш, подсобные помещения. Тогда же он и построил все намеченное. Ноябрьские пурги занесли дома снегом. Сейчас это недавно безжизненное хозяй-

ство начало оживать. Две бригады разгребали снег, выбрасывали его через окна цехов. Несмотря на поздний час, всюду сновали люди: несли полученные на время забоя матрацы, одеяла, фартуки, ножи, посуду. Из столовой уже тянуло запахом щей. Кто-то ругался:

— Что ж мяса-то нет, разве с этих щей будешь работать?

— Завтра будет, еще наешься досыта,— отвечал ему низкий женский голос.

Я прежде всего отправился на поиски пастухов. Они, конечно, подобрали для палатки место получше, закрытое от ветра. Над палаткой струился дымок, а внутри уже царил походный уют. Весело кипела вода в большом котле с мясом, на мягких оленьих постелях играли в дурака пастухи. Бригадир Петр Иванович Лялянский, приветливый, с умным и сухощавым лицом крепыш, слушал радио. Он был самым известным в совхозе человеком. Великолепный пастух и знаток оленей, он к тому же обладал отличным даром оратора и был очень живой, приятный человек. Он часто выступал от имени совхоза и в Хабаровске, и в Магадане, и уж, конечно, в нашем городе — Петропавловске. Из-за моложавого лица, подтянутой легкой фигуры я както с самого начала стал называть его Петей, да и все окружающие звали его так же. И я немало удивился, узнав, что ему за 40, что старший сын учится в Омске в институте. Вместе с ним в табуне работала его жена Ольга. Оба они были эвенами. Помимо русских имен они имели и свои национальные. Фамилии же были одинаковыми для людей из одного рода. Здесь их встречалось три: Уягинские, Лялянские и Долганские. Принадлежность к определенному роду имела большое значение, поскольку традиция запрещала жениться на избраннице из своего рода.

Поинтересовавшись, далеко ли табун и кто дежурит (мы боялись бродячих собак, которые могли прийти из поселка, почуяв запах оленей), я перекусил, отдохнул немного и вернулся в цеха, где продолжалась суета. Прибывали все новые машины, трактора, вездеходы с людьми. Толстов сдержал слово, не дав в эту ночь заснуть многим хозяйственникам района. Охрипший, веселый от живого дела, Зубко, словно капитан, отдавал направо и налево приказания. Около трех часов ночи заработал движок — загорелся свет.

В балке Зубко собрал небольшой совет. За столом сидели: его заместитель — Анатолий Иванович Егоров, бригадиры обдирщиков, заморозчиков, грузчиков, шоферов, три девушки — завстоловой и ее подручные, мой бухгалтер — в общем довольно большая компания. Обсуждали, что еще осталось сделать, уточняли обязанности. Вместе с клубами морозного воздуха в вагончик заскочил Петя Лялянский и его пастух-учетчик Василий Ивтакрат.

— Ну что, бригадир, хороший табун пригнал? — спросил Зубко.

— Хороший, Василий Никифорович, завтра сам увидишь.

Для меня это «завтра» наступило часа через два. На забое только-только угомонились, в балке все спали. Стараясь не разбудить людей, я надел свою меховую одежду и вышел. Все так же грохотало о берег море, гнул к земле жесткий морозный ветер. Мимо цеха, через кораль, где снег еще никто не примял, я прошел к палатке пастухов, разбудил Петю Лялянского, спросил, пошли ли люди за табуном.

— Сказал им, чтобы для начала пригнали не слишком много?

— Как ты велел, голов двести пятьдесят.

— Не ошибутся в темноте?

— Нет, Вувуна послал, он не ошибется. Ложись, спи немного.

Он подвинулся, и я лег рядом. В эту первую ночь никто в палатке не раздевался, спали по-походному. Только в углу был натянут небольшой полотняный положок для Ольги с дочкой. Я быстро задремал, и Петя уже сам разбудил меня.

— Давай пойдем, наверное, скоро пригонят.

Пропахав в снегу глубокую борозду, мы добрались до наружной стенки кораля, расположенной под крутым склоном террасы, сняли сеть, смотали ее клубком и сложили так, чтобы легко было закрыть оленям дорогу обратно, и залегли в снегу, ожидая подхода табуна.

Я лежал рядом с Эвгуром. Он задремал, а я прислушивался, стараясь уловить гонный крик пастухов, треск копыт оленей. Нетрудно было представить себе, что происходило сейчас в тундре. Вувун, Ивтакрат и Элевьи осторожно рассекли пасущийся табун на две

неравные части и начали потихоньку теснить меньшую в сторону забоя. Если бы они напугали при этом табун, пришлось растянуть его, гоня на ветер, а потом, спрятавшись на пути и пропустив мимо себя сколько нужно, с криком броситься наперерез. Требовался большой опыт, чтобы в плотной массе оленей отобрать более или менее точно двести — триста голов.

Наконец вдалеке послышалось негромкое «э-хей-хей-хей» — протяжное посвистывание, треск копыт. Я разбудил Эвгура. Мы приготовились, замерли. На фоне темного неба на перегибе террасы показалась оленья упряжка с привязанным сзади ездовым быком, потом сразу вырос лес рогов. На мгновение стадо задержалось, было видно, как передние пытаются повернуть обратно, но пастухи, подгонявшие сзади, нажали, и стадо почти рухнуло вниз по склону, в кораль. Тотчас с двух сторон навстречу друг другу мы побежали с сетью в руках, а олени, оказавшиеся посреди большого загона, сбились в плотный клубок посредине, который, словно огромная черная капля, перекатывался из стороны в сторону, никак не желая успокоиться. Вилась снежная пыль.

Я прошел к балку и, зайдя внутрь, громко сказал: «Подъем, табун в корале. Засекаю время». По существующим правилам в первые часы после загона животных в кораль приемщики уменьшают на три процента их вес, поскольку перед этим животные кормились. Позже эта скидка не делается. Поэтому заготовителю выгодно начать обработку скота как можно раньше.

Егоров вскочил, начал тормошить остальных. Скоро уже по всей территории забоя началось движение. Еще затемно рабочие встали на свои места, и мы, отделив первых два десятка животных, загнали их в промежуточный небольшой загон, а потом в забойную камеру.

Труд скотобоя, наверное, один из самых древних. В нем по сути дела нет ничего плохого. Но горожане испытывают к этому ремеслу определенное предубеждение, и потому я не стану описывать, как выглядит забойный цех. Мне вспоминаются слова одного старого пастуха, вырастившего на своем веку много тысяч оленей.

— Мне не жалко оленей. Убить можно, бить нельзя — они же все равно не понимают.

К слову сказать, я не раз обращал внимание, как горожане сначала ласкают вьючных оленей или лошадей, а потом, когда те упрямятся, нещадно бьют их. Пастухи обычно не делают ни того, ни другого.

Убитых ударом ножа в затылок оленей грузчики сейчас же клали на весы, а потом подавали в цех. До весов они как бы еще находились во власти совхоза, а после — потребкооперации. Егоров, ведавший в рыбкоопе заготовками, так же как и я, принимал участие в забое оленей впервые. Это было нелегкое дело — организовать труд полтораста людей, их питание, отдых. Но пожалуй, больше всего времени ему приходилось тратить на споры со мной. Нужно было определить упитанность каждого оленя, от чего зависели стоимость мяса, доходы совхоза и радость или огорчение покупателей. Петр Лялянский стоял тут же, стараясь определить жирность. Частенько Толя говорил: «Ну, ладно, Пете я верю, пиши «высшая»». Но еще чаще разгорались жаркие споры: только при взаимной неуступчивости мы могли добиться правильных цифр. Методика определения упитанности и тогда была, да и сейчас остается, насколько я знаю, далекой от совершенства.

День прошел быстро. Заканчивали работу уже при свете прожекторов. Промерзшие на ветру, мы и в теплом вагончике долго не снимали меховой одежды. Сунулись в столовую — людей было много, не хотелось обижать их и есть вне очереди. Я сказал Зубко и Егорову:

— Пойдемте-ка к пастухам, посмотрите, как мы живем, да и накормят там нас получше, чем в столовой.

Петя Лялянский был гостеприимным хозяином. К тому же и палатка его имела праздничный вид — украшена ярко-красным суконным утеплителем. Разложенное на деревянных долбленых корытцах мясо, красные соленые помидоры и маленькие огурчики (это уже Зубко постарался), свежие лепешки были ох как вкусны. В общем жизнь пастухов показалась нашим гостям вполне сносной. Да это так и есть.

На другой день мы опять лежали у входа в кораль. Уже светало. В сизом утреннем свете стали видны цеха и жилые вагончики, гнулся по ветру дымок над столовой, начали бродить люди, а табуна все не было. Ничего не сказав мне, Петя ушел к палатке и через не-

сколько минут пронесся мимо кораля на оленьей нарте к стаду. Предупредив Егорова, что сегодня работа задержится, я снова вернулся к входной стенке кораля. Как потом выяснилось, ночью табун дважды беспокоила приблудная собака. В конце концов дежурному удалось ее пристрелить, но, когда пастухи приехали отбивать стадо для забоя, олени еще не успокоились и паслись плотной массой. Пришлось сначала растягивать стадо по тундре — гнали вслед за нартой, а потом отбивать переднюю часть. Это делали уже с помощью подъехавшего Пети Лялянского.

На краю террасы, там, где дорога в кораль обрывалась круто вниз, олени резко затормозили. Я слышал, как кричали позади пастухи, над краем террасы вздымалась снежная пыль, слышался непрестанный треск копыт и сталкивавшихся рогов, потом он стал удаляться. Я понял, что табун повернул прочь. Кое-как пропахав в снегу глубокую борозду, я выбрался наверх и увидел длинную темную ленту, растянувшуюся по тундре, а за ней вдогонку наметом уходившие оленьи упряжки.

Через полчаса оленей вернули к коралю, но как раз подошла вереница машин вывозить из морозильных сараев мясо и спугнула стадо. Все началось сначала. Еще две попытки были неудачными. На высокой площадке у цеха, вдоль изгородей, на машинах — всюду потемнели фигуры людей, неожиданно оставшихся без дела. Разговаривали, обсуждали работу пастухов, давали советы. Вконец измученный Петя, без шапки — и без того жарко — потянул меня на край террасы.

— Леня, разве так олени пойдут? Ты смотри сам. Вот идем — ничего не видно. Вдруг только подошли к краю — сразу всего много.

Действительно, перед оленями вдруг открывалась панорама домов, изгородей, машин, галдящих людей.

— И вход неправильно делали. Олень никогда вниз, если боится, не пойдет. Снизу надо дверь открывать, чтобы вверх гонять.

Мнение Пети сейчас было решающим, никто из нас не знал оленей лучше, чем он. Пастухи, несколько набочих, приехавших на забой из Хаилино и Ветвея, начали разбирать боковую изгородь кораля, чтобы открыть оленям дорогу снизу. Несколько русских ребят помогали нам, но сейчас все зависело от умелой постановки оград. Чтобы направить оленей в кораль, пастухи набросали свои рубашки, мешки, куски сети по пути к коралю. На темном снегу эти маленькие темные кучки образовали два сходящихся крыла, потом их продолжали сетчатые изгороди, а еще дальше — дощатые заборы.

На дороге из поселка мы заранее выставили дозоры, чтобы задержать машины. Уговорить людей слезть с заборов и крыш было труднее, но постепенно и это удалось. Все затаили дыхание, смотрели, как работает Петя Лялянский. Он пошел один, сказал, что так будет лучше.

Табун приближался к коралю пасясь, олени неторопливо переходили с места на место, и Петя не слишком их подгонял. Он внимательно следил только за передней, активной частью, а длинный «хвост» из молодняка и быков отставал иной раз на сотню метров. За время осенней корализации я уже видел такой прием загона в кораль у Долганского. Теперь, затаившись у входа в снегу, я напряженно разглядывал передних, ближних ко мне оленей, старался понять, что руководит ими. В большинстве это были довольно старые важенки с телятами, заметны были и старые ездовые быки — с огромными мохнатыми рогами, сутулые, спокойные. Петя, вероятно, знал их еще телятами — таких оленей в совхозе знают все пастухи. Он не старался их пугать, только махал рукой — куда, мол, пошел, старый, давай к коралю. Важенки же вели себя неспокойно. С какого-то момента они насторожились, перестали пастись и, беспокойно оглядываясь, начали, словно маятник, двигаться то вправо, то влево, но не вперед. Все мы чувствовали, что еще мгновение — и наступит перелом, они бросятся прочь.

Петя отступил, позволил важенкам отойти назад и снова начал подгонять табун к коралю. Теперь он избрал другую тактику — «держал хвост стада покороче», не давал оленям отставать, хотя по-прежнему управлял в основном передними. Успеть и за теми и за другими ему было трудно, и он негромко позвал: «Вувун». Иван тотчас ползком выбрался из-под забора и сторонкой подошел к Пете. Он взял на себя заботу о хвостовой части стада. Стоя боком к нам, он крутил руками, слегка пугая оленей, заставляя их ближе держаться к головной части табуна.

Я чувствовал, что зрители начинают уставать от напряженного ожидания. Некоторые ушли в вагончики, кто-то закурил. Видимо, и олени слегка устали — им не давали покоя с раннего утра. Петя между тем неутомимо и все так же осторожно продолжал подтягивать табун к коралю. Иной раз казалось, что его труд пропал даром — табун снова отходил от кораля на те немногие метры, которые только что были с таким трудом отвоеваны пастухом. Наконец Петя, видимо, счел, что решающий момент настал. Он что-то сказал Вувуну, тот нажал на задних оленей. Как только они подтянулись и табун превратился в большой темный шар, пастухи вдруг с отчаянным криком бросились на оленей. Неожиданный рывок и крик вспугнул оленей, они неистово закружились по кругу, топот копыт в несколько секунд достиг силы гула. В неистово кружившейся массе смешались и передняя, и задняя часть табуна, утратили свою роль вожаки. И это позволило пастухам втолкнуть крутящийся шар в ворота кораля. Вытянувшись цепью, мы неистово прыгали, махали руками, шапками.

— Ровнее держись, все в одну линию, одинаково друг от друга,— командовал Петя Лялянский.

И вот наконец счастливый момент — табун пошел в кораль.

Расходясь по своим местам, недавние зрители восхищались мастерством пастухов. Для любого из русских рабочих трактор, машина, самолет, даже рация были предметами достаточно понятными и близкими. Но, встречаясь с оленьим табуном, они робели. Вид массы животных будит у любого человека какое-то странное ощущение. Мы воспринимаем табун как одно многоголовое существо. Только зная оленей, удается различать в их массе и тех, кто вольны в своем поведении, и тех, что покорно идут, подчиняясь остальным. Я не раз замечал, что русские считают оленеводов на Севере особенными людьми. Пастухи появляются в современных поселках в своих меховых необыкновенных одеждах словно из другого мира, они приходят из тундры, которая для них дом, а для приезжего — страна опасностей и немыслимо тяжелого труда. Русские люди и на Севере не часто видят пастухов. Даже в нашем районном центре оленьи нарты, национальные наряды всегда вызывали интерес, заставляли прохо-

жих останавливаться. А в Петропавловске, на аэродроме, увидев мою национальную шапку — полосатую, сшитую из разноцветных лапок пыжика, с бусами и красными кисточками,— люди с удивлением спрашивали меня: «Откуда?» И лишь раза два-три я слышал позади себя: «Это с Севера, я знаю». Наши Тиличики казались в Петропавловске-Камчатском краем света.

Забой позволял людям чуть-чуть ближе познакомиться с пастухами. После первых дней, когда многие уже знали друг друга по именам, в минуту передышки вспыхивали разговоры, расспросы. Рабочих удивляло и обилие молодых ребят среди пастухов, и грамотность, и то, что Петя успел объездить немалую часть нашей страны. Стоя на пронизывающем ветру, на морозе, люди поневоле убеждались, сколь великолепна в таких условиях оленья одежда. Они, правда, не совсем были согласны с многочисленными украшениями — для этого нужно было бы пожить в тундре и почувствовать ее бедность красками. На белом снегу зимой, в серовато-зеленом летнем мареве тундры бусинки и красные кисточки хоть на мгновение радуют глаз, веселят душу.

Легко понять, что мужчин удивляло боевое оружие пастухов. Каждое утро кто-нибудь из наших выносил из палатки пару карабинов. Они стояли, опираясь на сошки, и вид у них был какой-то очень внушительный. Конечно, рабочие в большинстве своем раньше служили в армии и повидали немало оружия. Но здесь карабины придавали труду пастухов еще капельку мужественности.

— Зачем здесь оружие? — спрашивали нас в первые дни. Надо сказать, что я и сам не слишком хорошо это знал. Я просто верил на слово Пете, что оно нужно. На третий день работы, когда я позаботился поднять пастухов пораньше и загон очередной партии оленей прошел без приключений, один из оленей вдруг прорвался из забойной камеры в цех. Среди множества людей, скользя на мокром от крови полу, бык стоял в недоумении. Все шарахнулись от него, потом кто-то из мужчин попытался схватить его за рога. Олень тронулся с места, почти шагом пересек цех, заметил свет в застекленном окне и, уже не раздумывая, рванулся в него. Зазвенело стекло, вылетел оконный переплет, и зверь оказался на свободе. Несколько секунд он стоял, тянул в себя воздух, ловил чуткими ушами звуки. По-

том большими прыжками понесся прочь, пока не выбрался на ту дорогу, которой сегодня утром пришел от большого табуна к коралю.

За эти короткие мгновения Петя успел подбежать к карабину, как будто не торопясь сел возле него на снег, размотал замшевый чехол на патроннике, дослал патрон. Олень уходил прочь, кругом кричали: «Стреляй, уйдет, стреляй скорее!» А Петя спокойно выцеливал зверя и наконец метров с шестисот с первого же выстрела уложил его. О меткости пастуха еще долго потом вспоминали рабочие.

Этот случай был не единственным. Часа через два перескочила через двухметровую ограду важенка. На следующий день такой же прыжок повторил двухлетний бычок. В этого взялся стрелять один из рабочих. Видно, он был неплохим стрелком, если решился испробовать свое мастерство при таком количестве людей. Он ранил бычка с первого же выстрела, но второй выстрел был неудачным. Олень ушел по дороге в табун.

Вечером мы засиделись с Толей Егоровым за расчетами. Уже далеко за полночь он выписал квитанции, по которым мы могли получить в банке деньги. Они были очень кстати: на складах «Сельхозтехники» скопилось немало наших грузов, пришедших с последними в этом году кораблями, но выкупить их нам было не на что. Утром я встал чуть позже обычного. Пастухи уже уехали в табун и скоро должны были пригнать оленей. Все шло как будто неплохо, задержка была невелика, и табун показался из-за сопки, когда только начало светать. Впереди на оленях шагом ехал Эвгур, его легко было узнать по белой камлейке, сзади тянулся табун. Доносился негромкий гонный крик пастухов, подгонявших табун сзади: «Э-гей-э-гей-э-гей».

До кораля уже оставалось метров двести, когда один из оленей остановился, тревожно подняв голову, пошел поперек движения остальных, выбрался на край и, мгновение помедлив, бросился прочь. За ним тотчас устремились остальные. Так повторилось еще дважды. Мы нервничали, боясь, что повторится история второго дня забоя. Подъехал Петя Лялянский и огорченно сказал: «Тот олень водит, что вчера убежал. Знает это место, ни за что не пойдет в кораль. Придется стрелять».

История с этим двухлетним бычком, в обычное время никогда не игравшим роли вожака, заставила меня по-другому взглянуть на особенности поведения животных, ведущих всех остальных. Ведь он отличался от своих собратьев по табуну очень важным в данном случае навыком — он знал, что кораль с его характерным запахом и внешним видом не сулит ничего хорошего. Он боялся его и потому, не обращая внимания на остальных оленей, убегал. И весь табун мог использовать его опыт благодаря тому, что следовал за первым выскочившим из стада оленем.

Через несколько дней, когда уже начался забой второго нашего стада, которое подогнала бригада Ивана Илькани, история с невольными вожаками повторилась, и они принесли нам много хлопот и огорчений. Илькани был очень самолюбивый и неуживчивый человек. Не будь он прекрасным пастухом, я бы снял его с бригадирства. Он приехал на забой в последний день обработки оленей Лялянского. Постоял, посмотрел. Егоров видел его впервые и спросил:

— Ну как, бригадир, хороших оленей пригнал? У кого лучше, у тебя или Пети?

— Разве это олени,— хрипло сказал Илькани,— это мыши.

Он был действительно прекрасным нагульщиком, и стадо у него оказалось в тот год неплохим, хотя и хуже, чем у Пети. С важным видом Илькани удалился, не очень-то слушая мои указания, как важно пораньше и с первого раза загнать первую партию оленей в кораль. Уже ночью ребята из его бригады подвезли к забою палатку, печку и все остальное. Бригадира с ними не было. Мне сказали, что он повез жену в поселок покупать чашки.

— Кто будет загонять?

— Илькани велел мне,— сказал Онон. Это был опытный, пожилой пастух, и я поверил, что он не подведет.

Первый загон прошел удачно, если не считать, что перед самым входом штук двадцать оленей все же сумели оторваться от остальных и уйти в тундру. Ничего не оставалось, как послать пастуха отогнать их обратно к большому стаду. Илькани вернулся к полудню и встал у весов как ни в чем не бывало. Мне бы надо

его поругать, но как-то не повернулся язык: были мы с ним еще очень плохо знакомы.

Наутро часа в четыре я пришел в пастушескую палатку. Илькани и его пастухи пили чай. Жена Илькани Люда разливала по кружкам чай. Хозяйство у нее, ничего не скажешь, было на высоком уровне. Даже чай заваривала не как во всех бригадах в большом чайнике, а в фаянсовом, специально для заварки. Илькани был суров, я тоже молчал. Табун они пригнали довольно скоро, но в кораль он не пошел ни с первой, ни со второй попытки. Мешал ветер, дувший оленям в спину, а главная причина — убежавшие вчера олени. То один, то другой из них выскакивал из табуна и уводил остальных за собой.

Как всегда, когда не ладится дело, понаехало начальство. Это прибавило нервозности в обстановке. Можно было бы заменить пастухов Илькани бригадой Лялянского, но это казалось уже крайней мерой. К тому же сейчас Илькани старался за троих. Глядя, как легко он бегает по глубокому снегу, с какой уверенностью управляет стадом, командует людьми, не верилось, что это тот же самый ходящий вразвалочку человек, которого я знал. Попытка следовала за попыткой, а дело не двигалось. Часов в двенадцать Илькани попробовал стрелять оленей, уводивших табун, но теперь это уже не помогло. У входа в кораль мы столько раз пугали оленей, что всем им стало памятно это место. Около трех часов я велел прекратить попытки. Все равно работать в этот день было бы уже поздно.

Ни на какие мои упреки Илькани не хотел реагировать вежливо. Меня так и подмывало все ему высказать, но приходилось сдерживаться. Главной защитой у него была жена, которая не только не считала мужа виноватым, но еще и пыталась уверить, что виноват совхоз.

— Что же, товарищ директор, нельзя себе чашки купить. Я в поселке не была три месяца. Мы тут в тундре тяжело живем и имеем право пить чай с удовольствием. Когда работали в Пустореченском совхозе, к нам так не относились. Мы еще подумаем, не вернуться ли нам туда.

— Вот что, Иван Савельевич,— сказал я Илькани.— Знаешь, сколько людей сегодня из-за тебя не работало?

— Почему это из-за него? — вступилась было Люда, но я не обратил на нее внимания.

— Сегодня простаивало больше ста человек. Зубко вправе потребовать от совхоза возмещения убытков за простой. Если завтра не загонишь табун, отстраню тебя от работы. Замена у меня есть.

Что меня удивляло в тот вечер и занимало впоследствии, так это роль Люды в бригаде. Она так отчитывала пастухов, словно сама была бригадиром. Стыдила их, требовала, чтобы нашли выход из положения. Вечером Илькани пришел ко мне и, не поминая про неприятный разговор, сказал:

— Надо перестроить кораль. Олень не любит по ветру ходить. Давай попробуем открыть другую стенку, погоним от моря.

— Что для этого нужно?

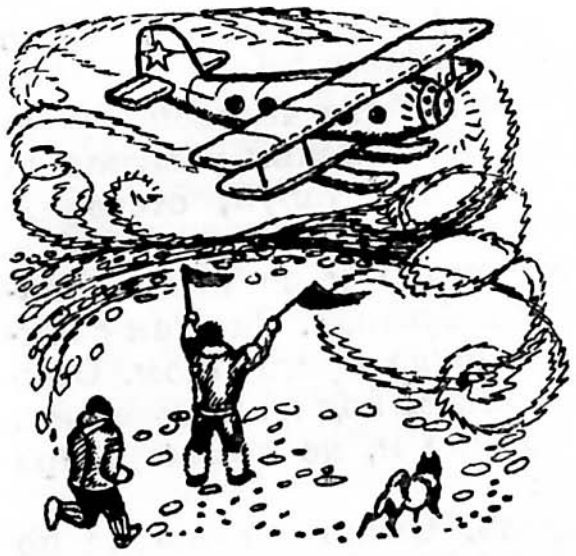
— Сетку, колья и чтобы люди помогли.

Эта работа в темноте вспоминается сейчас даже как что-то приятное. На наше счастье, светила полная луна. Вокруг снег, рядом море. Луна проложила по волнам, по льдинкам светлую дорожку. Снег кругом отливал желтизной. За работой мы не чувствовали мороза.

Метели здорово замели тот край кораля, который хотел использовать Илькани, пришлось откапывать сетку, натягивать новые колья, чтобы подвести оленей к входу. Все это заняло у нас часа четыре. Потом, даже не отдохнув, Илькани ушел с пастухами в табун, а мы остались ждать. Толя здорово мерз. Я послал кого-то из пастухов за кухлянкой для него. Так мы и лежали в ту ночь рядом — приемщик и сдатчик. Толя принимал от меня оленей и в последующие годы. Он стал моим хорошим другом.

Илькани на этот раз действовал осмотрительно. Он вел оленей вдоль самой кромки воды, так, чтобы они за береговым валом не видели ни построек, ни кораля. Толя позаботился, чтобы остановили движок. Илькани круто повернул оленей от берега вверх, почти навстречу ветру. Тут уж он действовал по всем правилам. Табун пошел в кораль, вероятно, и не заметив, где миновал ворота. Около пяти утра снова застучал движок, зашевелились сонные люди. Снова закипела работа.

СТРАНА МОЛОДЫХ



День после окончания забоя прошел для меня в нескончаемых хлопотах. С утра мы еще раз проверили с Егоровым все расчеты по сдаче мяса, он выписал квитанцию, и уже к обеду банк перевел со счета рыбкоопа на наш больше трехсот тысяч рублей. С этим итогом я и пришел к заместителю начальника сельхозуправления Мартынову.

— Ну что ж, с забоем неплохо получилось,— сказал Павел Ефимович.— Теперь давай налаживай быт в Хаилино. Оттуда сплошные сигналы. Когда туда едешь?

— С первым же самолетом. Я уже в курсе хаилинских дел. Нет горючего, трактора стоят, потому и не на чем подвезти дров. Как только раньше здесь жили, когда не было тракторов?

— С прежним временем не равняй. Десять лет назад в Хаилино всего два барака было и юрты (на Камчатке так часто называют яранги). Ни больницы, ни школы-интерната, ни яслей, ни столовой.

Прежде чем перейти в управление, Павел Ефимович проработал в нашем совхозе восемь лет. Ко времени его приезда Хаилино, построенное на пустом месте, было еще только маленькой, затерявшейся в тундре деревушкой. Молодой директор — Мартынов — хотел расшевелить людей, сделать так, чтобы совхоз кормил мясом не только своих пастухов, но и рыбацкие поселки, райцентр, город. Он мечтал построить в Хаилино аэродром, клуб, дать в дома электричество.

В кабинете я увидел худощавого, невысокого, рыжеволосого человека, в дорогом костюме, в полуботинках (хотя многие в Тиличиках носили унты и валенки). От пастухов я знал, что Мартынов месяцами работал с ними в тундре, любил участвовать в оленьих бегах. Глядя на его очень белое лицо, я невольно вспоминал рассказы, что Мартынова издали можно было узнать по белой повязке на носу — не выносило лицо морозного ветра и весеннего, палящего солнца.

В Хаилино Мартынову удалось поднять людей на большое дело: они выровняли тундру, чтобы могли садиться самолеты. В будни — рабочие совхоза, по вечерам и воскресеньям — все население лопатами копали мерзлую землю, переносили ее на носилках, засыпая ямы, копали канавы, чтобы осушить тундру, отвоевывая метр за метром. Точно так же методом народной стройки поставили в 1958 году большой клуб. Тогда же пришел туда первый трактор «Беларусь», пустили пилораму, стали делать свои доски.

В 1962 году, когда я начинал работать, в совхозе были иные задачи. Мы захотели сделать постоянную тракторную дорогу. Деревянные бараки и старенькая школа казались отжившими свой век, годными только на дрова. Но теперь было легче: совхоз имел и технику, и деньги, а главное, стало больше трактористов, строителей, интеллигенции.

— И вот что еще,— добавил Мартынов на прощание,— свет нужно дать. Мы пять лет бились, чтобы в Хаилино был свет. Теперь другие времена — нельзя людей держать без света. Ну, давай, действуй.

И начал я действовать. Это была на редкость однообразная работа. Каждое утро я отправлялся пешком через бухту из Тиличиков в аэропорт. Лед в бухте был еще тонок, машины не ходили. Длинной вереницей тянулись по льду люди. Кое-где под снегом была вода. Следы оступившихся быстро наполнялись водой. Тропинка виляла по бухте, словно искала места посуше, шла через наледь и снова вытягивалась дальше к аэропорту.

Через полтора часа такой прогулки я поднимался на второй этаж аэропорта, шел в диспетчерскую или к Заварзину — заместителю командира эскадрильи.

— Нет, Мироныч, сегодня не надейся. Разве что к концу дня. Геологов из тундры вывозим.

Никакие мои уговоры не действовали. Что было говорить о холодном, темном Хаилино, когда рядом с аэропортом толпились палатки, бродили бородатые люди, только что выбравшиеся из занесенной снегом тундры. И я терпеливо дожидался вечера — не останется ли часик свободного времени у летчиков, чтобы

отвезти меня в Хаилино. Вместе со мной дежурил Толя Савельев — наш экспедитор. Наготове стоял вездеход с тремя бочками солярки: это горючее так необходимо было сейчас в Хаилино. Я пробовал заводить с летчиками разговоры об оленьих языках, о засахаренной морошке. Но ребята только смеялись:

— Не соблазняй, Леня, с охотой сделали бы тебе рейс, да никак не выходит.

Геологи забрались далеко, а дни стояли очень короткие. Светлого времени едва хватало на один рейс.

Около трех часов дня, когда начинало смеркаться, я прощался с летчиками и диспетчерами. «Ну, может, завтра повезет». Толя подбрасывал меня на вездеходе по косе поближе к Тиличикам, и снова я топал по бухте, стараясь не набрать в сапоги каши из снега с водой.

Я жил у «молодых специалистов», как называли этот дом в Тиличиках. В четырех его комнатах обитала веселая и дружная компания: главный инженер управления, ответственный секретарь газеты, начальник пожарной охраны, старший следователь, главный врач. Всем было по 23—24 года. У нас была дружественная «республика»: восемь учительниц, врачей и воспитательниц детского сада, живших через огород. Вечером все собирались вместе: если у девочек — значит, на пельмени и блины, если у нас — значит, на танцы.

Как это всегда бывает, компания держалась на одном человеке — Васе Жарком — жизнерадостном, изобретательном и энергичном. В шесть часов утра, даже если перед этим мы пели песни до двух ночи, Вася вылезал из-под одеяла и включал магнитофон.

— А дорога серою лентою вьется,— разносилось по дому, и Вася начинал зарядку, тормошил всех нас — любителей поспать.

— Жаркий, я тебя привлеку за разрушение нервной системы,— кричал Володя Мерцалов.

— Володя, дай мне щетку,— басил из-под одеяла Фердолис Уразов.

И все же утро начиналось. Спать уже никто не мог. Вася не ленился сбегать «через огород», раздобыть у девочек вчерашних пельменей. И оттуда доносился шум и смех. Гости, которые всегда бывали и у нас, и у девочек, с ворчанием поднимались со своих раскладушек: «Ну и живете же вы. Когда только высыпаетесь?»

Многочисленные гости приносили нашим журналистам вести со всех концов округа. Рассказы тех, что поразговорчивее, можно было сразу записывать и помещать в газету: люди, в большинстве своем бывалые, вспоминали захватывающие внимание истории о жизни рыбацких поселков, о дальних оленьих кочевьях, о кораблях в бушующем море.

Как-то ночевавший у нас Тимошенко, тридцатилетний председатель крупнейшего рыболовецкого колхоза, рассказал о своей мечте — о «городах в тундре». Он сидел, прижавшись спиной к печке, положив ноги в пыжиковых чулках на стул, и говорил так уверенно, как может мечтать человек, имеющий все, чтобы сделать мечту явью. В трех километрах от старого поселка, поближе к гавани он заложил двухэтажные дома, собирался дать в них горячую воду, хотел, чтобы рыбаки жили «по-человечески».

Для рыбаков такие уютные современные поселки и впрямь были необходимы. Колхоз, где руководил Тимошенко, уже заменял старые рыболовные кунгасы и боты сейнерами и траулерами. Колхозниками были капитаны и штурманы дальнего плавания, судовые инженеры и механики. В колхозе уже имелся большой холодильный, консервный цех. Полный резон был сконцентрировать производство и людей в одном месте, создать современный культурный рыбообрабатывающий центр. А для сейнеров и траулеров лишняя сотня километров не проблема.

Картина рыбацкого городка увлекала почти всех обитателей нашего дома. Мечтали о лучшей жизни в нем, лучшем быте и дружно обрушивались на меня, не верившего в проект такого же городка для оленеводов. За два месяца работы в табунах я уже понял, что собрать оленей в одно место нельзя. Живя подножным кормом, они должны были каждый день переходить на новые пастбища. К тому же человек, чтобы сохранить свою власть над оленями, вынуждал их держаться большими табунами — по полторы-две тысячи. И коль скоро нельзя было остановить такого «производственного кочевья», бригада должна двигаться по просторам камчатских тундр, нигде подолгу не задерживаясь.

Еще в тридцатые годы на Камчатке начали строить культбазы — маленькие поселки, где семьи пастухов могли жить лучше. Теперь эти поселки стали постепенно закрывать — в этом был свой резон. Их трудно снабжать продуктами, обеспечивать медицинской помощью, проводить культработу. Для старых северных партийных работников, которые сами когда-то создавали культбазы, в укрупнении не было ничего удивительного. Но проходило оно нелегко. В поселках сложились коллективы людей, считавших эти места своей родиной и не желавших их покидать.

В моем совхозе таким был поселок Ветвей. Десяток жилых домиков с магазином, пекарней, почтой, медпунктом, яслями, баней.

— Что толку в твоем Ветвее,— кричал мне Мерцалов.— Что дает он государству?

— Да не меньше, чем большой город. Девяносто человек, считая и женщин и детей, дают на сто тысяч рублей оленины и на десять тысяч пушнины. Разве это мало?

— Ну пусть Ветвей дает кое-что. А сколько с ним мороки? Только и слышишь в райисполкоме: «В Ветвей не добраться, в Ветвее нет продуктов, нужно поднять в Ветвее культуру».

— Хорошо, снимем людей. Черт с ним, с поселком. Все равно табуны пасутся от него далеко. Перевезем людей в Хаилино. И что получится? Сейчас едешь из Тиличиков в Хаилино, хоть один поселок встречаешь, а будет сто пятьдесят километров мертвой тундры.

Это была еще одна трудная проблема. По рассказам я знал, что раньше в тундре многочисленные единоличные хозяйства гнездились по всем речкам. Коллективизация собрала оленеводов в десяток бригад, их семьи поселились в поселках. И тихо стало в тундре, словно вытянулись дороги.

Под влиянием наших бесед Фердолис написал статью «Тундра наступает». Она начиналась с Тимошенковских городов и кончалась описанием дальних тундровых дорог, которые тянутся мимо брошенных стоянок по безжизненным просторам. Статья эта взволновала всех. Ее обсуждали на специальном заседании обкома. Уразова здорово критиковали, считая настрой статьи неверным. Впрочем, и руководству было не

вполне ясно, какая степень концентрации людей желательна на Севере.

Вопрос этот волновал меня и в последующие годы. Уже будучи научным работником, я значительную долю своих исследований посвящал биологическим основам пастушеского ремесла. К сожалению, и сейчас многие считают кочевье данью отсталости, связывают его с привычками пастухов или желанием руководителей. На самом деле, чтобы улучшить быт людей, нужно изменить способы подчинения животных человеку. Изучать надо оленей, лошадей, овец. Такая работа уже ведется, появились первые предложения, как по-иному организовать труд пастухов (речь идет о разгораживании пастбищ, об управлении поведением животных по радио и т. д.).

Разговоры наши затягивались за полночь. Мы спорили с таким азартом и потому, что от правильного решения зависели и наши личные планы. И обязанностей, и власти для того, чтобы так или иначе улучшать жизнь в поселках, у споривших хватало. Слушая старших товарищей, мы набирались опыта. Конечно, были и ребята поупрямее, которым нужны были не только слова, но и прямые конфликты с жизнью, чтобы стать гибче, мягче в суждениях.

Володя Мерцалов — старший следователь, а потом заместитель прокурора района — не слишком любил наши споры, иной раз брал горные лыжи и шел кататься с горки над поселком. В темноте, один, раз за разом скатывался по склону на лед бухты, снова поднимался и опять мчался вниз. Его работа, конечно, немало нас интересовала. В рыбацких поселках, куда собиралась молодежь со всех концов страны, случалось всякое. Особенно волновали редкие и все же очень трудные для юристов случаи служебных преступлений. Они касались людей честных и сильных, но которые рискнули собой и подчиненными, послали их в шторм, в пургу на опасное дело и проиграли. Север требовал решительности и риска. Для Володи не было сомнений, он чувствовал в своих руках карающий меч и верил, что в неумолимости закона — сила общества. В некоторых случаях дело доходило до вмешательства многих людей, райкома, окружкома партии, но юристы у нас, что прокурор, что его заместитель, подобрались железные.

В оленеводческих поселках для следователей редко находилась работа. Несмотря на то что в каждом доме пастуха в углу стояли винтовки, а на поясе у каждого мужчины висел нож, у нас не случалось ни поножовщины, ни стрельбы. Если среди новичков находился буян, его тотчас же сажали на самолет и отправляли в места, где была милиция. Местные жители, вернувшись вечером домой или в праздничные дни, снимают пояс, стягивающий кухлянку, а с ним и нож. Соответственно не в их привычке хвататься во время ссоры за оружие.

Конечно, не только делами и серьезными разговорами была заполнена наша жизнь. По вечерам много танцевали, бродили по окружавшим Тиличики сопкам. Но наибольшая активность была проявлена в организации свадьбы Володи Воронова — главного зоотехника соседнего с моим оленеводческого совхоза. Он давно симпатизировал черноглазой учительнице Люде из «девичьей республики». Быть может, эта взаимная симпатия так и осталась бы без последствий — и Володя, и Люда не решались объясниться. Но тут за дело взялся мужской коллектив. Володя Мерцалов со свойственной юристам прямотой потребовал от Воронова ответа: желает ли он свадьбы? Далее последовали тайные приготовления, после чего мы объявили Воронову, что приглашаем людей на его свадьбу, но вот неудобно будет, если на празднике не будет невесты. Не знаю, легко ли было застенчивому Володе ускорить события. Но в назначенный час он привел и усадил Люду за стол. Правда, потом она утверждала, что не знала причины праздника. Однако свадебные подарки принимала, и крики гостей «горько!» не застали ее врасплох.

Замечательный подарок преподнес Мерцалов. С помощью всемогущего Зубко он раздобыл трехдневного поросенка и подарил Воронову с пожеланием основать свиноферму в своем совхозе. Жаркий преподнес детскую ванночку, журналисты — альбом фотографий жениха и невесты. Выделявшийся среди нас солидностью фигуры Уразов был посаженым отцом и держал длинную речь. Когда на следующий день в районной газете появился его «Репортаж со свадьбы», Фердолиса обвиняли, что он недостаточно полно осветил содержание свадебных тостов. Вороновы прожили в совхозе

несколько лет. Потом переехали во Львов, на родину Володи.

В ночь на 30 ноября задула пурга. Три дня в воздухе висела снежная пыль, неистово дул ветер, мел по сугробам, струил поземку. Люди на улицах брели вереницами, ступая в след идущих впереди, лишь на мгновение поднимая над воротниками лица, чтобы убедиться, не сбились ли с пути. Вечерами мы бросали жребий, кому идти в магазин, а уже потом неудачник выкликивал добровольцев в сопровождающие. Отчаявшись и не надеясь больше на авиацию, я при очередном сеансе переговоров по радио с Хаилино попросил Боева — нашего главного механика — выслать в Тиличики для меня нарту, оленей, одежду. В Хаилино тоже бушевала пурга, так что ничего не оставалось, как терпеливо ждать.

Утром второго декабря Вася, как обычно, поднял нас спозаранку. Из-за пурги, порвавшей провода, не было тока, магнитофон молчал. И заменяя его, Вася весело напевал, дергая нас за ноги:

— Пастух, вставай, олени ждут... Мерцалов, тревога, в магазине воры... Уразов, где твой фельетон...

За окном сверкали солнце и снег. Редкостной красоты утро, какое только бывает после сильной пурги, встретило нас у порога дома. По улицам мчались собачьи упряжки, с веселым лаем унося каюров вдаль. После тоскливого ожидания кажется, все вокруг звало в дорогу. Как и неделю назад, я пересек бухту, пришел в аэропорт. Мысль, что из Хаилино уже посланы олени, сделала меня почти нечувствительным к очередному вероятному отказу. И вдруг Заварзин, заместитель командира эскадрильи, сказал мне:

— Ты подожди. Сейчас поразгоню пилотов и слетаем с тобой. Новым ребятам нужно дать провозные, посмотреть, как летают. Заодно и тебя подбросим.

Можно было прыгать от радости. Через полчаса мы действительно поднялись в воздух. Правда, Заварзин не захотел брать ни солярку, ни пассажиров, кроме меня. К тому времени уже немало и наших хаилинских, и разного рода командированных ждало попутного рейса. Сорок пять минут от Корфа до Хаилино показались мне очень длинными. Наконец знакомый перевал. Заварзин выскочил прямо к аэродрому. Из

окна самолета было хорошо видно, как бегут из поселка люди. Вот один из них, спотыкаясь на бегу, оказался посреди летного поля. На следующем заходе мы увидели, как он размахивает над головой двумя красными флагами.

Через несколько минут Заварзин спросил по радио:

— Почему даете отмашку?

— Не готова полоса.

На аэродроме лежал глубокий рыхлый снег, и укатать его было нечем, трактора стояли из-за нехватки горючего. Нам ничего не оставалось, как вернуться в Корф. Высунувшись из кабины, Заварзин сказал мне что-то длинное и нечленораздельное. За ревом мотора мне не было слышно.

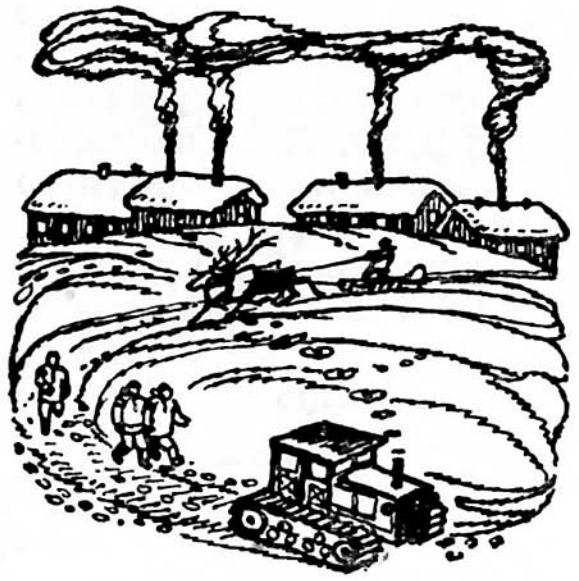
Эта неудача окончательно подорвала мое доверие к авиации как самому быстрому транспорту. К тому же прибыл пастух с оленьей упряжкой для меня. Можно было не сомневаться, что через два дня я буду дома.

Вечером, накануне отъезда из Тиличиков, я зашел к молодоженам Вороновым. Они купали в ванночке поросенка.

— Он должен жить по-человечески,— объяснила мне Люда.

Володя смеялся, и мы договорились о встрече в тундре. Ведь бригады наших совхозов зачастую располагались совсем неподалеку.

ХАИЛИНО



Мы подъезжали к Хаилино ночью. Было очень холодно. Устав за день, я едва правил оленями. Впереди маячила спина Миши Тнаковава. Он, видимо, сильно замерз, молчал. Иногда тоскливую дорогу оживляли появившиеся знакомые приметы: овражек, изгиб реки, крутой подъем. Счет им шел куда медленнее, чем хотелось бы, и все же мы приближались к цели. Наконец начался последний подъем на тот самый перевал, что дал название поселку,— Хаилино (по-корякски «маленькая шея»). Отсюда обычно видишь веселые огни поселка, их ждешь и заранее радуешься встрече. Приободрившись при мысли, что конец дороги близок, я соскочил с нарты, пошел рядом с оленями, изо всех сил махая руками, топая ногами, пытаясь согреться и все время вглядываясь в темноту. Вот уже фигура Тнаковава затемнела на перевале. Он остановился, поджидая меня. Мы поравнялись, но света впереди не было. Тут же на перевале выпрягли оленей. Миша повел их на сопку — кормиться. А я надел через плечо алык (кожаная лямка, которую надевают на оленя) и потянул нарту вниз, к поселку.

Мой домик стоял с краю. Ровный, не примятый слой снега закрывал крыльцо и полдвери. Наскоро разгребя его ногами, я попробовал открыть замок. Пальцы не гнулись, я зажал ключ между кулаками, пытался его повернуть, но не мог. Промучившись минут пять, я был готов заплакать. Поселок спал. По темной улице я добрел до дома Гавриловых и забарабанил в окно. Через несколько минут мне открыла дверь Лена — в одной рубашке, она казалась в темноте дверного проема ослепительно белой.

— Простите, Лена, что разбудил. Руки зашлись, не могу открыть свою квартиру. Позвольте мне у вас отогреться.

Она ввела меня в кухню. Через несколько минут появился и Василий, ее муж. В большом термосе у хозяев нашелся чай. Еще сонные ото сна, они суетились вокруг меня — Василий оттирал руки, Лена накладывала в чай сахар, мешала ложечкой и одновременно сообщала мне последние новости.

— А вчера, Леонид Миронович, трактора наши в Корф ушли. Вася тоже хотел, да я не пустила, он со спиной неделю мучился, радикулитом болел, куда ж ему ехать. А потом я одна боюсь, теперь бичей понаехало, дерутся, за женщинами бегают.

— Один раз подрались,— вмешался Василий,— чего тут сочинять.

— Что за бичи?

— Ребята из Петропавловска завербовались. Зимовать им надо,— пояснил Василий.— Летом рыбачили в колхозе, теперь без работы.

Минут через пятнадцать мы с Василием отправились ко мне. Он захватил с собой несколько сухих поленьев и лучину, помог открыть дверь и затопил. Потом я долго сидел в полузабытьи на постели, покрытой медвежьим одеялом, дожидаясь, пока согреется комната. Теплый туманный воздух сначала клубился у самого потолка, потом его слой стал толще, опустился ниже. Наконец вся квартира — комната, перегороженная печью,— заколыхалась, поплыла в клубах влажного теплого воздуха. Заледеневшие за полтора месяца стены покрылись тонкими подтеками, начали обтаивать окна, тихо стучала в умывальнике капель.

Спать в просаленном, черном от грязи белье не хотелось, а сменное, хранившееся в чемоданах, все проволгло. Я разделся догола и, сбросив медвежью шкуру на пол, лег между двумя шерстяными одеялами. Было уже четыре утра.

В семь меня разбудил стук в дверь.

— Открыто, входите.

Появился Боев. Он не изменился за месяц, по-прежнему щеголял в морской шапке-ушанке с «крабом» и перетягивал полушубок ремнем с якорем. Но обут был в унты. Осенью я неизменно видел его в брюках клеш и ботинках.

— С приездом, Леонид Миронович. Как доехали?

— Спасибо. Как у вас тут?

— У нас — беда. Только что приехал на оленях

пастух из бригады Лялянского и привез тракториста Володю Петрова. Булькнул вместе с трактором в озеро «на Кисловодске» (так называли в совхозе район реки Кислой, где было много теплых, с солоноватой водой ключей).

— Живой?

— Пока живой. Отвезли в больницу. Уже доктор туда побежал.

— А остальные трактора?

— Стоят там.

— Свет в поселке есть?

— Нет. Последнее горючее вчера слили в те трактора, что ушли «на дорогу».

— Где же ребята там греются?

— Пастух говорит — у них пока. К счастью, Лялянский оказался близко. Он с забоя кочует. Теперь поставил там палатку. Вам записку прислал.

Боев протянул мне записку.

Петя писал: «Леня. Корма здесь мало. Надо скорее кочевать, а то олени будут худые».

Мне было неудобно перед Боевым вылезать голым из-под одеяла.

— Вы идите, Сергей Иванович, я сейчас приду в контору.

В промерзшей за ночь конторе собралось довольно много народу. Уже начиналась утренняя разнарядка. Завхоз и прораб быстро определяли людей на работу. Здесь же были председатель сельсовета, завхозы больницы и школы, пекарь. Как только я открыл свой маленький кабинет, его до отказа заполнили люди. У всех были ко мне вопросы, но из-за несчастного случая им неудобно было прямо приступать к ним.

От двери протиснулся ко мне одноглазый Эвгур. Как всегда, он добродушно улыбался, даже когда рассказывал о невеселом происшествии.

Петров шел последним из трех тракторов. Сбившись со следа — то ли заснул, то ли не заметил,— он выехал на покрытое снегом озеро. Трактор провалился сразу. Прицепщик его, Огурцов, был на санях. Парень не побоялся броситься в воду и вытащил потерявшего сознание тракториста из кабины.

— Кто этот Огурцов? — спросил я у Боева.

— Из новых рабочих, что приехали из Петропавловска.

— Хороший парень?

— Механик хороший. А так — как все,— ответил Боев.

Я еще не знал, что предпринять, поэтому попросил Боева сходить в больницу, узнать о состоянии тракториста. А сам занялся делами. Посетители быстро перестали соблюдать очередность, наступали на меня все сразу. Особенно горячились завхозы — все крупные, румяные женщины. «Дрова, дрова, дрова». Поселок замерзал. О свете, которого не было уже дней пять, о горючем для электростанции вспомнил только Паруни — председатель сельсовета. У двери, прислонившись к косяку, тихо стоял пекарь Ким. Он один не требовал, а молча ждал. Мне ведь и так было ясно, что означало его появление.

— Сколько тебе, Ким, надо дров?

— Кубометр сухих. Если сырые, наверное, не смогу. Совсем пекарня холодный.

— Где-то надо взять сухих дров, Николай Мефодьевич,— сказал я завхозу.— Вы здесь старожил, предложите что-нибудь.

— Может, совхозные юкольники поломать,— предложил Анхивилян, один из каюрщиков, возивший на собачьей нарте дрова.

— Ну вот. Каждый год одно и то же. Как дров нет, так начинаем ломать юкольники и заборы,— возмутился Глущенко.

— Значит, не в первый раз такая история? — спросил я.

— Да что вы. Я здесь 12 лет живу, пять лет завхозом, и каждую зиму — дрова, дрова. Раньше каждый себе дрова заготовлял, и всем было тепло. А сейчас одиннадцать точек. Откуда я напасусь?

Мне пришлось перебить Глущенко:

— Так мы договорились, Николай Мефодьевич. Четыре нарты сухих дров в пекарню.

Я вернулся в кабинет, проводил женщин, обещая вскоре помочь, и остался вдвоем с Паруни — председателем сельсовета. Молодой, очень грамотный и живой человек, он пользовался в поселке уважением.

— Что же делать, Виктор Иванович? Полная катастрофа — света нет, хлеба нет, школу и больницу закрываем. И аэродром укатать не можем — значит, на самолеты надеяться не приходится.

— Через месяц будут садиться на реку,— вставил Паруни.

— За месяц с нас голову снимут, если не наладим в Хаилино нормальную жизнь.

Вернулся Боев, сообщил, что тракторист пришел в себя. Доктор обещал, что скоро поставит его на ноги. Я позвал Машу, нашу уборщицу и курьера, и попросил пригласить Тнаковава и Эвгура. Первым пришел Тнаковав. Он уже успел выспаться, был красив и весел.

— Не проверял, Миша, оленей?

— Еп-по, сейчас пойду.

— Не надо. Сейчас поедем с тобой на «Кисловодск», где трактор утонул. Знаешь, где это?

— Эвгур говорил.

Было уже девять. Пришел Богданов, наш главбух, и его подчиненные. Надо было подписать какие-то бумаги. Я пока что мало смыслил в бухгалтерии и подписывал, целиком полагаясь на Богданова. Возясь с мелкими делами, я невольно прислушивался к разговору Паруни с Эвгуром и Тнаковавом. Они толковали о транспортном стаде, которое паслось где-то неподалеку. Пастухи боялись, чтобы туда не забрели собаки из поселка. Я не был в транспортном стаде со времени прощальных бегов, которые устраивал Васильев.

— А нельзя нам на оленях дрова подвезти? — спросил я у Паруни.

— Нарт грузовых не осталось. Раньше только на оленях и возили. А теперь все тракторами. Как-то забыли старый способ.

— Да, нарты совсем все поломанные,— вздохнул Тнаковав.

— Починить нельзя?

— Я поговорю со стариками,— пообещал Паруни.

— Только сейчас же, Борис Иванович. Мы с Мишей и Эвгуром поедем к тракторам, а ты здесь побеспокойся. Я к этому делу сейчас и Глущенко подключу.

Пока Мишина мать кормила нас олениной, Боев взял на складе у Лены Гавриловой одежду для себя и трактористов, а Эвгур привел оленей. Мне собраться было совсем просто — я только-только приехал. И к полудню мы уже тянулись по следу Эвгура к месту аварии. Несколько раз я засыпал и в конце концов привязал поводья за Мишину нарту, чтобы можно было подремать со спокойной душой. Перед спусками

пастухи кричали мне, чтобы проснулся. Я послушно тормозил ногами, а как только мы выбирались на ровную тундру, снова начинал клевать носом.

Прямо по тракторному следу мы добрались до полыньи на озере, уже затянутой прозрачным льдом. Вокруг вдоль и поперек тянулись глубокие борозды от гусениц, словно трактора, как люди, сбежались к месту происшествия. Прямо подо льдом виднелась плоская кабина трактора. Сани стояли в воде почти вертикально, переднюю часть трактор потянул за собой, вниз, задняя торчала надо льдом. От полыньи следы тянулись к склону ближнего увала. Там стояла палатка пастухов и три трактора. Люди дожидались, пока мы подъедем. Я пожал всем руки, постоял молча, постучал палочкой по торбазам и полез в палатку. Боев сзади начал было отчитывать тракториста Журавлева, почему, мол, не следил за порядком в колонне. Я окликнул его: «Да ладно, Сергей Иванович, и так все огорчены».

Попили чаю, а потом завели один трактор и, набившись всей компанией в сани, поехали к озеру. Здесь еще полчаса рядили и так и эдак. Потом я сказал:

— Ну давайте делать что-нибудь. С чего начнем?

— Надо скорость выключить, иначе не стронем,— сказал Боев.

— Пусть Огурцов лезет. Он уже опытный,— угрюмо сказал Журавлев и начал раздеваться.

— Да ладно, Гоша, и я могу,— говорил длинный сутулый парень. Я видел его впервые. Это он вытащил Петрова из воды. В палатке Огурцов сидел молча. Он выглядел каким-то пришибленным, словно виноватым.

— Да ты белье не снимай,— советовали Журавлеву.

— Что я, не русский, что ли? — мрачно отказывался тот.— Креститься так креститься.

Тем временем трактористы разломали лед на полынье и выудили льдинки. Журавлев прыгнул на крышу кабины, почти достигавшую поверхности воды, секунду зябко переминался с ноги на ногу, а потом сразу нырнул в глубину кабины. Через несколько секунд, едва он показался на поверхности и ухватился за край льда, мы вытащили его на снег. Журавлев и в одежде-то казался гигантом, а сейчас, раздетый, выглядел просто Геркулесом. Странно контрастировали

его белое-белое мускулистое тело и загорелое, пересеченное наискось шрамом лицо.

Часа три мы кололи лед всеми кувалдами, ломами и железками, какие нашлись. Нужно было прорубить длинную полынью, вдоль которой можно было бы вытащить трактор. Потом за водило саней прицепили два троса, пригнали остальные трактора, и они, выстроившись «в затылок», по команде начали тянуть. Нам показалось, что «утопленник» зашевелился — над его крышей зарябили волны, со дна начала подниматься муть. Боев, размахивая руками, снова и снова заставлял трактористов ослаблять тросы, а потом разом дергать. Так мы промучились до темноты, но без успеха. Замерзшие и голодные, мы вернулись к палатке. Трактористы кляли «Кисловодск» с его ржавыми ручьями и плохо замерзающими озерами.

Вечером, посовещавшись с Боевым, я решил отправлять трактора дальше, в Корф, а «утопленника» пока оставить на месте. То ли от усталости, то ли от неуверенности в решении я сказал об этом вяло и без нажима. Возник бесполезный спор, трактористы уверяли, что машину скоро засосет и на ней сразу же надо ставить крест...

Так или иначе рано утром два трактора затарахтели по снежной равнине дальше. Еще долго были видны их силуэты: черная коробка кабины и сани на прицепе. Мы с Боевым, Тнаковавом и Огурцовым на оленях отправились обратно в Хаилино. Бригада Лялянского осталась сворачивать лагерь и на следующий день тоже прибыла в поселок.

История с утонувшим трактором сильно взволновала Хаилино. От Огурцова и Боева все знали дело в подробностях, и, как видно, в тот вечер, когда мы вернулись, и в общежитии и по домам среди рабочих эта тема обсуждалась. Как бы то ни было, утром, дождавшись конца разнарядки, ко мне в кабинет пришел Евтеев, один из бригадиров строителей. До сих пор я его почти не знал, да и внешне он был неприметен: за сорок, лысый, невысокий. У него была тяжело больна жена, как-то осенью мне пришлось помочь отправить ее самолетом в районную больницу.

— Можно было бы вытащить трактор,— сказал Евтеев.— Мы на Волге баржи на берег вытаскивали, а уж трактор как-нибудь.

— Большие трактора ушли. На ходу только «Беларусь». Чем же будете тащить?

Евтеев, как я знал, появился в совхозе весной во главе бригады из пяти человек и взялся построить бетонную баню и большой жилой дом. Свои здания они уже заканчивали, но, кажется, уезжать не спешили. Иметь дело с такими бригадами совхозу было легче, чем формировать собственные. Кроме бригады Евтеева у нас работали еще бригады Кожина и Мокрецова. Люди в них были все очень высокой квалификации, так уж подбирались — чтобы все равные.

На мой вопрос Евтеев ответил не слишком понятно:

— Медведкой потянем. Нам бы лишь бревна четыре хороших и трос. «Беларуська» увезет туда, а больше ничего не надо.

Что такое «Медведка», из объяснений Евтеева я не совсем понял, но, конечно, за это предложение ухватился. К вечеру Евтеев собрал человек десять добровольцев, они прицепили к «Беларуси» бревна, трос и отправились к нашему «утопленнику». Евтеев просил, чтобы за дело отвечал он один и чтобы механика я не посылал. Среди рабочих половина неплохо разбиралась в технике, и они, конечно, сумели бы слить воду из двигателя, чтобы не разорвало блок. О ремонте же пока думать не приходилось.

Мы послали с рабочими две собачьи упряжки: для подвозки дров и для связи. На следующий день Евтеев прислал записку с просьбой прислать еще лопат и топоров — промороженную землю не так легко было копать. Нарты продолжали сновать по набитой дорожке туда и обратно и в последующие дни: возили продукты, инструменты, людей на смену. Съездил туда и Боев. Вернувшись, он рассказал, что «спасатели» врыли глубоко в землю два бревна торчком, завели тросы и теперь прорубают длинную полынью, чтобы подтащить трактор к берегу. Евтеев задумал тянуть трактор чем-то вроде двух воротов — медведками, как он называл свои приспособления. Трос от трактора крепился за короткий конец бревна, а длинный бригада вращала вокруг оси, врытой в землю. Сначала надо было тянуть за один трос, затем закрепить и тянуть за другой. Пока что шли подготовительные работы.

Каждое утро в четверть восьмого я вскакивал под звон будильника с постели и шел через весь поселок

в контору. Прораб, завхоз и механик при свечах определяли людей на работу, точнее, подтверждали, что на сегодня все остается по-прежнему. И люди и работа оставались одни и те же, так что разнарядка скорее выглядела перекличкой.

Среди строителей выделялась бригада Кожина — семь человек во главе с седобородым сухощавым бригадиром. Они взялись построить коровник «на аккорд»: мы вам сдаем готовенькое здание — вы нам двадцать тысяч. Они рассчитывали заработать эти деньги за три месяца, но у совхоза не хватило бревен и досок. Бригада, чтобы не сидеть без дела, взялась помочь строить дома. Постепенно люди прижились, и к тому времени, когда я приехал, бригада уже стала привычной частью коллектива строителей. И сам бригадир, и его товарищи обзавелись семьями.

После разнарядки я обязательно заходил в коровник. Кожин умел держать бригаду в руках, и мне было приятно смотреть, как плотники работают сверкающими топорами — «личным» инструментом. Люди охотно собирались вокруг меня покурить, побеседовать. У них уже не было того бурного темпа в работе, в котором работают шабашники. Оставшись в совхозе зимовать, они теперь стали как-то спокойнее, надежнее. Работали и быстро и с удовольствием.

В первый же день я поделился с Кожиным заботой о грузовых оленьих нартах. Борис Паруни хоть и выполнил обещание — собрал десятка полтора грузовых нарт, но этого было слишком мало для того, чтобы обеспечить поселок дровами.

— Знаю я эти нарты,— сказал Ширшанов, один из плотников,— каюрил когда-то на Таймыре. Здесь их потоньше делают. Копыл задалбливают и ремнями вяжут к полозу, а там просто на шип сажают.

Тут начался профессиональный разговор, который я еще мало понимал. Набрался я опыта лишь через год, когда уже стал отвыкать от опеки пастухов и научился сам чинить нарту в пути.

— Может быть, попробуете? — спросил я у Кожина.

— Сразу не могу ответить,— серьезно сказал бригадир,— я сегодня возьму у Ятгера одну нарту, он мой сосед, посмотрим с ребятами и завтра скажем.

На следующей разнарядке Кожин дождался, пока от меня уйдут настырные хозяйки из школы и больни-

цы — теперь у них были дрова, но некому было их рубить,— и спросил, сколько совхоз будет платить за нарту. Кожин глядел на меня своими беловато-голубыми глазами, поглаживал седую бородку клинышком и ждал ответа. Уже наученный горьким опытом, я не решался сразу назвать ему цену. Наш главбух не раз объяснял мне, сколь глупо не уважать финансовую науку, и теперь я боялся попасть впросак. Мы платили пастухам за одну нарту 25 рублей, но они выстругивали их почти одним ножиком. Не потому, что не имели других инструментов — любимая премия пастухам от совхоза и управления столярные и слесарные наборы. В некоторых бригадах их было по два-три. Пастухи делали нарту, словно рисовали картину. Иное дело плотники. Мне запомнилось, как один молодой парень, рассматривая впоследствии кожинскую нарту, сказал: «Однако плохой человек делал».

— Почему?

— Посмотри сам.

Нарта действительно смахивала на паука-ревматика. Но я и так знал, что плотники не искали в нарте красоты. Михаил Андреевич, наш главбух, разрешил заплатить за нарту столько же, сколько пастухам. Плотники сделали 60 полозьев, 240 копыльев, все необходимые стойки, планки и через три дня, связав 30 нарт друг за дружку, привезли к конторе. Все высыпали смотреть на этот поезд. Мои тундровые герои — старые бригадиры-оленеводы Анхивилян, Ятгер, Эхевьи, Оммат — рассматривали нарты, наморщив нос, и все же не могли не признать, что дрова на них возить вполне можно.

Мы сейчас же отрядили Мишу Тнаковава с пятью рабочими в транспортный табун за оленями. Вскоре уже с полсотни оленьих нарт дважды в день подвозили дрова к поселку. Глущенко теперь с важностью объяснял, почему он принял решение складывать дрова сначала на хоздворе и рубить «на швырок», а потом уже развозить «клиентам».

Часам к десяти, немного разделавшись с делами, я отправился в свою неуютную, нахолодавшую за ночь квартиру. Затопил печь, немного прибрал и сел завтракать. У меня была банка персикового компота, под столом, как всегда, стояла большая коробка печенья — его удобно было доставать рукой не глядя. Наконец

для меня наступил утренний час тихих радостей: компот, печенье и журнал из недавней почты.

Пятнадцатого декабря мне сообщили из Корфа о приходе наших тракторов. Погода держалась хорошая: мороз, иногда несильная поземка. Я рассчитал, что дня через три трактора вполне могут вернуться обратно. Для полной уверенности я добавил еще пару дней на какую-нибудь поломку в пути, еще день на неизбежный «праздник» благополучного прибытия. Так или иначе выходило, что мы окажемся с горючим не позднее чем за неделю до Нового года. Можно будет наладить наконец нормальную жизнь: дать свет, пустить пилораму, заменить пятьдесят оленей двумя тракторами.

В тот же день вместе с Боевым мы обошли наше нехитрое механическое хозяйство. Мы застряли у большого вездехода-тягача — родного брата нашего трудяги в Корфе, который помогал Зубко на забое. Тот сразу попал в надежные руки Толи Букреева и отлично работал. Этот же в грустном одиночестве едва чернел из-под снега. Несколько раз мы ругались с Боевым. Он почему-то упорно не хотел прикрыть вездеход брезентом. Вдруг на машину нашелся охотник — Огурцов. После ныряния в прорубь он перебивался у Боева на мелких ремонтных работах. У парня были золотые руки, он сначала полез в вездеход из интереса, а потом предложил его восстановить, и я загорелся надеждой. В памяти еще было живо воспоминание, как, высунувшись по пояс из люка в крыше кабины, я мчался по улицам Корфа. Тягач словно плыл по сугробам, раскачивался, сотрясал округу ревом мощного двигателя.

Потом я почти ежедневно наведывался к вездеходу, где Огурцов черными от масла руками копался в железных внутренностях мотора. Тогда стояли сильные морозы — до 50 градусов, кругом, казалось, все звенело, и мне смотреть, как работает на таком морозе человек с железом, было неприятно, словно внутри все слипалось.

В середине декабря в Хаилино пришел наш «утопленник», притащил сани с радостными и смущенными, точно именинниками, рабочими. Я вышел из дома на рокот трактора, и на душе полегчало — еще одной бедой стало меньше. Евтеев соскочил с саней, постоял со мной и сказал невпопад: «Надо же, как легко за-

велся. Немножко прожгли его факелами, механик поковырялся и... завелся».

Так понемногу налаживалась наша жизнь. Мне остается рассказать еще о вечерах. Многие из них я проводил у учительниц — Гали и Риты. Галка неизменно встречала меня воркотней:

— Идешь греться, а совхоз дров не везет, из-под пола дует — дом сто лет не ремонтировали.

— Сделаем, Галочка, все сделаем.

— Только обещаешь. Вот не будем пускать, тогда быстрее вспомнишь о нас.

Приходил Игорь — наш доктор — двадцатитрехлетний кубанский казачок. Был он на редкость смелым врачом, при необходимости брался за такие операции и способы лечения, на какие не всегда решались даже в районе, и успех был на его стороне. Доктор был небольшого роста, а ходил большими шагами, засунув руки в карманы и низко натянув шапку-ушанку. На улице его можно было узнать издалека.

Часам к восьми у девочек уже собиралась довольно большая компания. Хмуровато подшучивал над собой и окружающими тракторист Журавлев. Его жена Нелли Павловна, под стать мужу рослая и могучая, брала на себя роль хозяйки, что-нибудь готовила, накрывала на стол. Приходили молодожены Борисовы — Дима и Дуся. Они и познакомились-то в нашей компании. Дима приехал вместе с бригадой Кожина, был и плотником, и штукатуром, и маляром, и кровельщиком. В общем, как все на Камчатке, мог работать за десятерых. Дуся начинала у нас с заведующей клубом, а потом ушла работать в ясли. Немало она надоедала мне днем — то дров не подвезли, то нужно что-то срочно отремонтировать.

Кроме чаепитий любимым нашим занятием было пение. Я брал на себя роль ложечника, Журавлев подыгрывал на баяне. Душевные это были вечера. Расходились уже ночью. У девчат оставался один доктор. Утром я спрашивал его:

— Ну что, Игорек, долго еще сидел?

— Часов до трех,— он застенчиво улыбался.

— Чего делал?

— Ничего.

— А девочки?

— Спали.

— А ты?

— Сидел.

Он был влюблен в Галку и был счастлив сидеть рядом с ней.

Из-за того, что самолеты не летали, к нам не привозили новые кинокартины. И киномеханик частенько стал устраивать в клубе танцы, благо бензин для его движка имелся в избытке. Конечно, все население поселка стягивалось к единственному ярко освещенному зданию. Хотя и неважный клуб — холодноватый и небольшой, а все же здесь было веселее, чем при свете свечи у себя дома.

Киномеханик «гонял» записанные на магнитофон мелодии. Кружились, раскачивались, прыгали и переступали на месте пестро одетые пары: девушки в платьях и туфельках, парни в свитерах, унтах, торбазах. Тон задавали русские учительницы, им во всем подражали девушки-чукчанки. Парни на танцах большей частью исполняли служебную роль — «их танцевали». Девушкам приходилось за руку вытягивать их в круг.

На танцы приходило и старшее поколение. Стоял в стороне одетый по-парадному главбух, посверкивая золотыми очками. Его жена, строгая и стройная Вера Алексеевна, тоже работавшая у нас в бухгалтерии, красиво танцевала с Боевым. Тот особенно предпочитал вальс. Старики и старухи в национальных одеждах рассаживались у стен прямо на пол, так им было привычнее. Время от времени они решительно прерывали европейские танцы, высыпали на середину и под гул бубнов начинали свои. Скоро к ним присоединялись молодые пастухи, ребята из красной яранги. Мне нравились коряцкие национальные пляски. Случайному зрителю они могли показаться однообразными. На деле у каждого танцора был свой стиль: у Миши Тнакова чуть воинственный, он бил в бубен и подпрыгивал на месте немножко быстрее, чем остальные, часто резко менял ритм, начинал новую фразу танца еле слышно, почти не двигаясь, словно подкрадывался и потом сразу переходил в атаку. Бубен бил глухо, грозно, и танцор, казалось, сейчас сойдет с места, рванется вперед. Гриша Хоялхот танцевал очень мягко, словно успокаивал и себя и зрителей, иногда почти совсем пере-

ставал двигаться, только чуть вздрагивал в такт задумчиво повторявшему свой призыв бубну.

Женские танцы коряков большей частью имитируют бытовые сцены или каких-то животных, птиц. Некоторые из танцев наивно откровенны. Вот женщины, сидя на корточках, ритмично взмахивают руками, точно шьют. Другое па — они приглаживают волосы, проводя вдоль кос воображаемым гребнем. Вот, приложив руку ко лбу, они вглядываются вдаль — не идут ли из табуна мужчины. И наконец, неистовый танец радости — мужья, женихи уже близко. Поднявшись на ноги, подпрыгивая, женщины исполняют танец бедер, повернувшись к зрителям спиной. Тонкие длинные кухлянки еще более подчеркивают, как изгибается их тело. В такт движениям раскачиваются красные кисточки и позвякивают колокольчики.

Когда наконец вернулись из Корфа трактора и доставили горючее, появилась идея устроить воскресник и заготовить для клуба дрова. Заранее выбрали делянку, где было побольше сухостойных деревьев. И в воскресенье, еще затемно, два трактора потащили до отказа набитые людьми сани на лесосеку. Туда же тянулись каюры на собачьих упряжках, обгоняя наш тракторный поезд.

Плотники, лесорубы, бывшие пастухи — все, кому валить лес было привычно, взялись за топоры, остальные стаскивали стволы к саням, грузили. Двигаться в глубоком снегу было тяжело, но в тот день это лишь прибавляло веселья, давало повод для шуток. К обеду, когда решили передохнуть, все собрались на полянке, утоптали немножко снег. Журавлев по просьбе девчат-учительниц воткнул посредине тополек. Его топорщившиеся вверх ветки украсили вылепленными из снега игрушками, поставили караулить их бабу-ягу с бородой из ветоши и стали водить вокруг хоровод. Было очень весело.



Ползимы пролетело незаметно. Сначала забой оленей, потом налаживание быта в поселке, сдача годового отчета и составление плана на уже наступивший год удерживали меня в Хаилино. Наконец в январе я смог отправиться в табуны. Я собрался к Долганскому. Провожатым снова был Коля Чилькин — уже знакомый мне пастух этой бригады. Я взял с собой Бэлу, не хотелось опять оставлять ее у соседей. К тому же было интересно посмотреть, как западносибирская лайка поведет себя в тундре.

На следующий день на двух собачьих упряжках мы добрались до транспортного стада, пасшегося в двух десятках километров от Хаилино. Его держали два старика — Увувье и Киргильхот. Они и помогли нам поймать ездовых оленей. Вечером мы уже ехали по широкой заснеженной долине, мимо остроконечных хребтов к Долганскому.

Ночь выдалась безлунная и очень холодная. В поселке минус пятьдесят не слишком заметны; там бываешь на морозе лишь переходя из дома в дом. Но сейчас, после нескольких часов езды, я чувствовал себя неважно. Нестерпимо ныли щеки, лоб, подбородок. Ногами я стучал по полозьям нарты, по снегу, с обеих сторон от следа моей нарты оставались ямки. Пальцы в рукавицах зашлись. Я изо всех сил терпел, не зная, когда же кончится эта дорога. Между тем Чилькин как будто заблудился. Несколько раз мы останавливались, хотя вряд ли можно было что-нибудь увидеть в такой темноте. Потом мы снова продолжали путь по небольшим округлым горам. Иногда Чилькин начинал что-то петь. Это было совсем неуместно, но я дошел до того, что не мог и сердиться, чувства во мне словно застыли. Осталось только ожидание.

Наконец Николай остановился, бросил элоэль на снег и, подтянув нарту поближе к оленям, завязал на ней коротко повод. Это были верные признаки того, что остановка надолго. Не хотелось и думать о том, чтобы здесь ночевать. И все же я переборол себя и промолчал, когда Чилькин подтвердил мое предположение.

Расстегнуть в рукавицах упряжь никак не удавалось. Но нельзя быть обузой товарищу. В отчаянии я, так же как Чилькин, сбросил рукавицы на снег, взялся за обледеневшие от дыхания оленей ремни голыми руками и вдруг почувствовал, что пальцы отогреваются. Впоследствии, уже из учебников по физиологии я узнал о небольшом подъеме температуры тела у замерзающих животных перед окончательным окоченением. Что-то меняется в этот момент в состоянии соков тела и выделяется небольшое количество внутреннего тепла. Наверное, поэтому замерзающие люди вдруг начинают чувствовать тепло, видеть ласковые сны и погибают с улыбкой. Видно, и в моих руках появилось это тепло.

Мы отвели ездовых на сопку. Моего правого — старого и хитрого оленя — привязали. «Никуда от него не уйдут»,— сказал Николай. Но я на всякий случай пустил второго с веревкой на шее, чтобы было удобнее ловить. Оленя, которого Чилькин запрягал правым,— по кличке Грэб — пустили пастись свободно, а левого — тоже с веревкой. Вернувшись вниз, мы принялись устраиваться на ночь. Вскипятили чай, выкопали лунки в снегу и в них уснули.

Ночью меня разбудило тихое взвизгивание. Я приподнялся, чтобы узнать, что обеспокоило Бэлу,— Чилькина не было. Я сейчас же вскочил и посмотрел туда, где мы оставили оленей. Их я тоже не увидел. Это было самое неприятное, что могло случиться в тундре. Вынув из кожаного мешка аркан, я побежал по следам, пока не увидел Колю. Он осторожно крался к оленям, а они, хватая ртами на ходу кусочки снега, так же тихо отходили от него. Олени словно делали вид, что кормятся, но на самом деле отступали ровно настолько, насколько приближались мы. Последним шел мой левый, с длинной веревкой на шее.

Чилькин старался добраться до ее кончика, он был совсем близко к цели. Наконец, прыгнув вперед, Николай упал на веревку, обеими руками пытаясь ее ухватить, но она скользнула между пальцами — это олени рванулись вперед. Старый хитрый олень, тот, которого мы привязали, бежал впереди, волоча за собой вырванный с корнем куст.

— Грэб, Грэб,— позвал Коля своего любимца как последнюю надежду. Олень, шедший вторым, остановился, поднял голову. Однако через мгновение он снова тронулся следом за уходившими товарищами.

— Не надо,— сказал я Коле.— Давай подождем.

Олени отошли не так уж далеко. Наконец они начали пастись, разошлись по склону. Не стало ни первого, ни последнего. И тогда мы стали снова приближаться. Самое важное было не испугать их. Издалека, совсем издалека, Коля вновь начал манить Грэба. Он протягивал ему руку и кричал: «Грэб, Грэб!» Когда еще Грэб был теленком, Чилькин приносил ему грибы и звал: «Грэб, Грэб» (гриб, гриб). Пастухи смеялись над таким необычным занятием, однако тоже начали собирать грибы и подзывать доверчивого олешка.

Вот и сейчас он поднял голову, потянул в себя воздух, словно не верил, что и впрямь здесь, зимой, среди снега, для него нашли гриб. Все же сделал несколько шагов в нашу сторону, постоял, потом пошел шаг за шагом к нам. «Грэб» — шаг, «Грэб» — еще один шаг. По шажку за ним как за вожаком потянулись и остальные олени. А когда нам удалось поймать за веревку одного, можно было быть уверенным, что не убегут и остальные.

Наутро мы продолжали путь. Выяснилось, что в темноте мы все же пропустили долинку, куда должны были ехать. Пришлось вернуться назад. Еще часа два после поворота мы пробивались целиной, потом встретили попутную нартовую дорогу. Вскоре начали попадаться многочисленные следы оленей, раскопы, места лежек. Наконец и сам табун показался впереди. Наши ездовые прибавили шагу. Даже мой старик — правый повеселел, сильнее натянул постромку.

Километрах в двух от табуна мы нашли стоянку бригады. Улыбающийся Иван Петрович Долганский, в старенькой, «домашней» кухлянке, взял у меня оленей. Подошли поздороваться за руку и остальные пастухи — кто был дома. Старик Митрай, как всегда важный и заботливый, сказал мне: «Здравствуй, мо-

лодой человек, здравствуй. Заходи в палатку, грейся». С оленей сняли уздечки и отпустили. Они рысцой потянулись по направлению к табуну.

Выбив одежду, я зашел в палатку. У печки сидела на корточках Наталья. Протянула мне большую жесткую руку и громким голосом поздоровалась: «Ам-то». У нее уже пылал огонь в печке, грелись чайники. Только мы развалились на шкурах, как появился маленький столик, юкола, галеты, сахар, масло. Все были рады гостям, и нам было радостно оказаться среди людей.

Несмотря на тревожную ночь, я чувствовал себя бодрым и сильным. Хотя Долганский не вполне понимал мои намерения, я все же увязался за ним в табун. У палатки была привязана лишь одна пара оленей, мне пришлось быть пассажиром, за спиной бригадира. По накатанной дорожке олени несли нас галопом, и я едва успевал спасать ноги от мелькавших по сторонам твердых снежных заструг.

Еще во время осенней корализации мне объяснили, что в стаде нужно ходить прямо за пастухом, держась к нему поближе. Тогда олени меньше пугаются. Долганский, еще не отвыкший от мысли, что я хочу его проверить, показывал мне, какой хороший здесь ягель, отгребал рукавицей снег в раскопанных оленями лунках или начинал объяснять, где держали стадо вчера и где оно будет завтра.

На бугорке мы присели. Долганский заложил за губу лимишину (смесь табака и пепла от пережженного березового гриба). У него было тонкое, сухощавое лицо и проницательно-умные желтоватые глаза. Еще я заметил, что он по-особому завязывал уши малахая — на затылке, так что они воинственно торчали над головой. За месяц осенней корализации я узнал, что Иван Петрович пользовался среди пастухов огромным авторитетом. Внешне он был не слишком заметен — среднего роста, чуть сутуловат. Раненая когда-то на охоте правая рука его плохо гнулась и была намного тоньше левой, которой он бросал аркан. И лишь по слегка напряженной улыбке, по быстро менявшемуся выражению глаз и очень осторожной тихой речи можно было догадаться, что рассказы о его решительности и вспыльчивости правдивы.

Я говорю о Долганском так подробно потому, что

он остался в моей памяти образцом бригадира. В оленеводстве, где бригады живут в однодневном пути друг от друга, бригадир не только организатор дела, но и настоящий хозяин. Пастухи не говорят: «Поехал во вторую бригаду», говорят: «Поехал к Долганскому». И сохранность оленей, и уют палаток, и даже безопасность людей в бригаде зависят прежде всего от бригадира. В первый же год я узнал, что погубить оленей, положить табун сотнями трупов на десятке километров тундры неопытный пастух может за один день. На собраниях я часто приводил пастухам такой расчет: «Один трактор для совхоза стоит столько же, сколько 35—40 оленей». А в одном табуне их было 1700, да весной еще нарождалось до 800 телят. Производственные показатели совхоза, его слава прежде всего зависели от бригадиров.

Для пастухов быть бригадиром — высшее достижение в жизни. В нашем совхозе уже были пастухи, работавшие после учебы оленетехниками, в соседнем — сын старого бригадира стал главным зоотехником. И все же слава бригадиров была самой громкой. Показывая на стариков, мне часто говорили: «Это старый бригадир». И я тоже с уважением смотрел на умиротворенных, мудрых людей, оставивших тысячи километров трудных дорог позади, знавших на своем веку беды и радости. Те из пенсионеров, которые были еще сильны, работали в бригадах хозрабочими. Зимой выстругивали из березы легкие нарты, каркасы палаток, помогали кочевать, ловить ездовых оленей и строить корали, а летом вместе с семьями пастухов поселялись где-нибудь на реке, ловили и вялили рыбу. В достоинстве, с которым они занимались хозяйственной работой, было что-то от сознания людей, переживших и приключения, и славу и нашедших теперь смысл жизни в том, чтобы просто заботиться о людях.

— Тоже хитрый немножко,— засмеялся тихо Долганский, показывая мне на крупного светлого олененка, пасшегося неподалеку от нас.— Сам не хочет копать — тяжело, лучше ходит, ищет, где другие олени недоели.

— А где мать? — спросил я.

— В «консерва»-табуне (олени, предназначенные для забоя). Осенью браковали. Ты сам зубы смотрел — говорил, очень старая. Напрасно так мало быков-каст-

ратов оставили. Когда глубокий снег, они хорошо копают, а маленькие олени за ними подбирают.

Это было уже критическое замечание в мой адрес, и я его записал. Действительно, в ближайшие дни я заметил, что олени пасутся по-разному. Важенки, объединившись в небольшие группы, энергично разгребали широкими передними копытами снег. Со всех сторон слышался стук — они разбивали затвердевшую корку снега. Рядом с ними, то подбирая остатки корма за матерью, то расширяя ее лунку, там где снег был помягче, паслись оленята. Хоры (племенные быки) предпочитали пастись в стороне. Сбросив рога осенью, они были безоружны перед рогатыми важенками. Иногда я видел, как одна из них, подойдя к упорно трудившемуся хору, выгоняла его от только что разрытой лунки, и тот большей частью безропотно подчинялся. Лишь дважды я заметил, как хор пробовал защищать свое место, поднявшись на дыбы и выбрасывая вперед передние ноги. Быки-кастраты с огромными, но плохо очищенными от кожи рогами обычно паслись в сопровождении телят и молодых годовалых оленей. Те использовали труд своего могучего товарища, расширяли начатую им лунку.

Вместе с Иваном Петровичем я ходил по табуну из конца в конец. Точно так же, как он, завязал уши малахая наверх, чтобы лучше видеть, заложил руки за спину. И засмеялся про себя, вдруг заметив это подражание. Долганский время от времени что-нибудь рассказывал мне об оленях. «Этот теленок, когда родился, целый день лежал, не вставал. Думали, что не выживет. Вон та темная важенка в этом году без теленка. Но я не дам ее выбраковать. Если хорошая важенка один год без теленка, на следующий год принесет очень хорошего, крупного, сильного. Вот беговой олень Митрая. Теперь уже старик не участвует в бегах. Попроси у него, может быть, разрешит ездить, пока ты у нас живешь».

— Как ты знаешь их всех,— удивился я.

— Всех не знаю, только приметных. Если сейчас всех приметных не найду, тогда искать будем.

Вскоре процедура осмотра табуна стала и для меня привычной. Сотни раз, вот так же заложив руки за спину, не торопясь, обходил я с пастухами табуны, постепенно и сам стал запоминать оленей. Оказалось

действительно не слишком сложным знать наперечет 50—60 пестрых оленей (с белыми пятнами на туловище, кончике носа, на ногах), еще столько же ездовых (как же не помнить пастуху оленя, которого сам учил, на котором многие дни ездил), три десятка хоров, между которыми во время гона то и дело вспыхивает драка. Еще несколько оленей, почему-либо известных, находится в табуне: тот пришел из соседнего стада да так и остался, другой любит соль, часто крутится у палаток и т. д. Набирается 150—200 приметных животных, а всего в стаде 1700—1800. Один приметный олень, следовательно, приходится на десяток незаметных, мало отличающихся друг от друга.

Олени — очень компанейские животные. В одиночку они ходят лишь в глубокой старости или когда тяжело больны. Если потерялся приметный олень — значит, откололся целый кусок стада — десяток или больше. Опытные бригадиры знают свое стадо лучше, молодые — хуже, но в общем такой вот подсчет себя оправдывает.

Первые два-три дня и бригадир и остальные пастухи немножко настороженно относились к моему интересу в их работе, советовали «отдохнуть», говорили «да мы сами справимся, чего вам там делать». Потом поверили, что никакого подвоха за моим интересом не скрывалось, что и впрямь их знания и работа кажутся мне важными. Все чаще они сами рассказывали мне о каком-нибудь приеме, о своих наблюдениях за оленями. Впрочем, я скоро убедился, что в их действиях очень многое идет не от понимания животного, а от заученных с помощью старых пастухов правил. Каждый пастух помнил своего учителя. Скоро я узнал, что в округе существуют целые школы пастушества, отличавшиеся и принципами удерживания стада в подчинении человеку, и особенностями кормления животных. Однако оценить эти различия я смог лишь через год-другой.

Я привез с собой многие наивные представления о работе пастухов, распространенные среди жителей городов. Наука о приемах управления стадами животных к тому моменту еще только зарождалась. И может быть, именно крах наивных представлений горожанина и беспомощность научных представлений и заста-

вили меня задуматься над, казалось бы, простейшими, но, если вдуматься, коренными проблемами.

Как, собственно, управляет пастух оленем? В тундре не было изгородей, животных во время выпаса не привязывали веревкой, да это и вряд ли можно было сделать с таким большим стадом. И все же олени не уходили. Преданностью человеку этого не объяснишь. Скорее наоборот — олени боялись человека. За сотни метров они поднимали головы, всматриваясь в подъезжающих пастухов. В стаде возникала паника — бросив пастьбу, животные начинали собираться в стадо. Когда мы уезжали, олени еще долго оставались в плотной массе.

Разбредясь по тундре, по склонам сопок, стадо делилось на много частей. Впоследствии я смог наблюдать, что размер групп сильно зависел от условий обращения животных. В лесу, в хаосе мелких гор стадо разбивалось на группы по 10—15 животных. И все же редко-редко отбивались одиночки, и каждый раз это можно было как-то объяснить: то важенка отправилась искать куда-то пропавшего теленка, то в тундре осталася больной олень.

Разбившись на множество частей, стадо выходило из-под контроля пастухов. Каждая группка выбирала свой путь между сопок, и стадо постепенно все больше рассеивалось. Бегать за каждой группой тяжело, и повернуть табун в нужную сторону нелегко. Сами по себе олени зимой не стремились собраться в большое стадо. Для этого их надо было напугать. Главная обязанность пастухов на ночном дежурстве — регулярные обходы по краю стада. Тогда табун собирался кучнее, и опасность пропажи оленей уменьшалась.

Не все согласны с тем, что сбор в группу у оленей связан прежде всего с их оборонительным поведением, с тем, что в стаде им не так страшно, потому что и соседи оглядываются вокруг — нет ли чего опасного, сообщают об этом, помогают выбрать правильное направление во время бегства. Есть предположения, что животные собираются в стадо при движении в одном направлении. Некоторые исследователи утверждают, что стадность свойственна оленям от природы, им «хочется» быть рядом с себе подобными. Есть и другие гипотезы. Все они в чем-то верно отражают наблюдения за оленями. Если же пытаться провести всесторонний

анализ, то нужно начать с основных потребностей животного — выжить, прокормиться, размножиться. Наблюдая, как растет олененок, как живет до старости, видишь, как формируется в стаде его поведение. Присутствие соседей помогает вовремя заметить опасность, раскопать снег, разыскать самку. Очень многое в жизни оленя связано с близостью других оленей, и не мудрено, что стадность становится привычкой, потребностью. В стаде олень чувствует себя лучше всего.

Собрав оленей вместе, пастухи перегоняли их на новое пастбище, ловили ездовых оленей, просчитывали. Для всего этого существовали специальные приемы, понять которые я и пытался. Перегон стада на новое место оказался делом сложным по своим принципам. Несколько раз в отсутствие пастухов я собирал табун и пробовал перегонять его, но олени лишь кружились по кругу, вздымая снежную пыль, а подчиняться моему желанию не хотели.

Чтобы понять приемы ловли и просчета оленей, я рисовал схемы действий пастухов, отмечал их последовательность. И в том и другом случае они работали с испуганным стадом. Спокойно пасшихся оленей надо было сначала собрать в более плотную массу и криками, свистом встревожить. Испуганные олени стремились перебежать к спокойно стоявшим в отдалении товарищам, уйти из тревожной зоны в безопасную. На пути их пастухи вставали в две шеренги, образовав живой коридор. На корточках или даже лежа на снегу они выжидали момент, когда олени бросятся бежать к ездовым, и тогда коридор быстро сужался, в воздухе повисали стремительно выброшенные вперед петли арканов. Перебегание к ездовым по прямой линии было очень характерной чертой поведения оленей в этой ситуации. Лишь многократно напуганные олени пытались обойти опасное место стороной.

При просчете оленей пастухи применяли сходный прием, используя те же особенности их поведения — перебегание по прямой линии из места, где их тревожат, к спокойно стоящим поодаль оленям. Только вместо ловцов коридор составляли счетчики. Этот способ учета назывался «учет прогоном». Был и другой прием: потихоньку отделяли от пасущегося табуна часть оленей и перегоняли к ним поочередно остальных. Это нужно было делать очень осторожно, что-

бы не напугать табун. Встревоженные олени вместо того, чтобы переходить через воображаемую нами линию раздела учтенных и неучтенных оленей, начинали собираться в плотную массу. Каждый табун мы просчитывали четыре раза в год. Всего табунов в совхозе было восемь. Так что довольно скоро я приобрел в этом деле достаточный опыт.

В бригаде Долганского было шестеро пастухов. Кроме уже упомянутых здесь самого бригадира, Чилькина, пастуха-учетчика, и Митрая работали еще Коля Ивтагин, Тайнав и Апис. Тайнав — заместитель бригадира — был очень молчаливый, сумрачный, дочерна загорелый человек, очевидно уже немолодой. Он совсем не говорил по-русски, и наше общение ограничивалось кивками да улыбками. О Тайнаве я наслышался еще до приезда в табун. Его жена — Маша — работала в конторе совхоза курьером-уборщицей. Она неизменно приходила ко мне в кабинет вечером, когда я, закончив бесконечные дневные дела, брался за составление отчетов и справок, которые с меня как директора и зоотехника требовались в огромном количестве. Присев на корточки у печки, она разводила огонь, а потом, обратясь ко мне, говорила: «Тайнав уйне! Тайнав уйне плохо». Иногда к этим словам добавлялось «Тайнав уйне — дрова уйне» или «Деньги уйне». Тогда я просил утром завхоза подвезти ей дров, а главбуха выдать аванс из зарплаты Тайнава.

Когда наконец Тайнав приезжал на побывку, у Маши целый день не сходила с лица счастливая улыбка. Она приносила мне вечером горячей оленины, словно желая поделиться радостью. Иногда Тайнав звал меня к себе домой. У них была довольно большая квартира, но для восьмерых детей и двух взрослых, конечно, и она была тесновата. Как обычно, у чукчей основу убранства комнат составляли оленьи шкуры, но, кроме того, стояли пара кроватей, стол, несколько стульев. Такого умения, как у русских женщин — побелить, подмазать печку, покрасить полы, у Маши не было, а Тайнав не обладал столярным мастерством. От этого обстановка в доме могла показаться убогой. Но я знал, что ни в продуктах, ни в одежде их семья нужды не терпела. В доме стоял устойчивый кисловатый запах выделанных оленьих шкур. Этот запах сопровождал каждого, кого тундровая жизнь вынуждала носить оленью одежду. Я свыкся с ним и не замечал.

Самый молодой пастух в бригаде Ивтагин любил поспать. Дважды во время ночных дежурств он распускал табун. Долганский же всякий раз, когда дежурил Коля, специально вставал спозаранку и навещал стадо. После одного такого визита Коля пришел ко мне злой и, почти плача, рассказал, что бригадир обломал на нем свой элоэль. Работать в бригаде дальше Коля отказывался. Что было делать? Я пообещал Коле сделать Долганскому внушение и действительно заговорил с бригадиром об этой истории наедине. Но тут вдруг в Иване Петровиче и проявился характер.

— Пусть уходит. Я за табун расписался. Совсем молодой человек — почему так много обманывает? Идет на дежурство — и спит. Берет оленей учить — ничего не учит.

— Но может быть, он случайно уснул,— пробовал я защищать.

— Как случайно? Он яму в снегу вырыл и ветки там положил, чтобы было теплее.

Уладить дело мне не удалось, и я настоял лишь на том, чтобы Коля доработал до моего отъезда.

Каждый вечер кто-нибудь из пастухов, получше одевшись, уезжал в табун дежурить. Возвращался он часам к десяти утра. Сам бригадир на дежурства не ходил. Зато он проводил в табуне полдня. Я стал его постоянным спутником, и Долганский многому меня научил. Обычно, приехав в стадо, мы прежде всего обходили его по краю, возвращая наиболее далеко ушедших оленей. Случалось, что отколовшаяся группа не хотела возвращаться, и тогда приходилось идти вслед за ней на лыжах. Конечно, можно было это сделать и на оленях, но наши пастухи почему-то предпочитали работать пешком, и я скоро тоже привык к этому.

Оставив на нарте верхнюю кухлянку и сняв пояс, чтобы влажный теплый воздух выходил из-под рубашки снизу, я надевал плетеные лыжи и шел к оленям. Чаще всего, заметив погоню, они возвращались в табун. Однако так бывало не всегда. Распространенное мнение, что зверь бежит от человека, неверно. К этому были способны лишь наиболее умные животные — старые ездовые олени, взрослые важенки. Бегство от человека требовало от животного способности выбирать

целесообразное направление. Они же большей частью руководствовались тем, что запоминали с первых месяцев жизни — бежали на ветер или старались повыше забраться на сопку. На это обратили мое внимание пастухи.

Вернуть оленей было не просто. Один из них, очевидно вожак, уводил группу все дальше, едва я пытался приблизиться. Долганский подсказал мне, что не стоит пытаться перерезать оленям дорогу. Еще больше пугаясь, они ускоряли бег и, конечно, легко уходили от преследования. Надо было бежать параллельно их курсу. Это тотчас вызывало у них замешательство. Вожак то и дело останавливался, как бы пытаясь оценить мои намерения, и, не догадавшись, предпочитал повернуть вспять, под защиту большого табуна.

Олени хорошо помнили место предыдущей ночевки, и пастухи обязательно проверяли его: не вернулись ли туда наши беспокойные подопечные. Удивляло также, что олени всегда знали, где большой табун, в какую сторону он движется. Увлекшись пастьбой и внезапно вспугнутые, они сначала бросались на ветер или несколькими прыжками поднимались по склону, а потом, на несколько секунд замерев, устремлялись к табуну. Случалось, что олень бежал от табуна или упорно не уходил со своего места. Зачастую это было признаком, что он не последний, что где-то есть олени, зашедшие еще дальше. Как только я возвращал их назад, поворачивал и упрямец. Точно так же наши ездовые олени хорошо знали, где находится стадо. Иной раз, заплутавшись среди незнакомых сопок, я давал им свободу, и ездовые довольно быстро выводили меня на правильный путь.

Все эти навыки приходили ко мне быстро. Вспахивая рыхлый снег на плетеных лыжах, задыхаясь от напряжения и кляня оленей, я поневоле запоминал все, что могло бы облегчить этот тяжелый с непривычки труд.

Дней через пять после приезда в табун я решил отправиться на ночное дежурство вместе с Колей Чилькиным. Долганский, как обычно, пробовал отговаривать, но и он уже привык к моему стремлению овладеть профессией пастуха. Днем он сам поймал и привел пару спокойных оленей. Вечером, наевшись хорошей оленины и одевшись так, что и ходить было тяжело, я

запряг оленей (уже научился делать это сам) и вслед за Чилькиным заскользил по едва заметной дорожке к табуну. Он пасся на новом, мало знакомом мне месте, так что чувствовал я себя в темноте не слишком уверенно. Вместе с Чилькиным мы объехали табун, немного посидели вместе. Время от времени Коля негромко посвистывал и покрикивал.

— Пусть знают, что мы здесь,— пояснил он.— Если наткнутся не ожидая, испугаются. Ну и едят спокойнее, не боятся никого, знают, что люди близко.

С восьми до одиннадцати часов дежурство пролетело быстро. Олени разошлись по склонам небольшой долины. Со всех сторон раздавался стук копыт о наст, хруст разгребаемого снега. Чилькин отправился в голову табуна, ближе к перевалу, чтобы не пустить оленей в соседнюю долину. Я остался сзади и ниже. Мои олени проголодались, то и дело дергали повод, тянулись к лункам, только что разрытым кормившимися оленями. Я распряг их и, используя средник (ремень, за который олень тянет нарту) как веревку, привязал за куст. Ночь тянулась медленно. Время от времени я прикладывал часы к уху, чтобы убедиться, что они идут. Точно так же, как Чилькин, и я посвистывал, давая оленям знать о себе. Глаза немного освоились с темнотой, и, обходя табун, я уже не так часто оступался в лунках.

Около трех часов ночи табун словно что-то толкнуло. Видимо, я незаметно для себя задремал, потому что первые мгновения не мог понять, где я и что происходит. Мимо меня мелькали темными тенями олени, сливаясь в живые ручейки. Мне показалось, что одна из важенок промчалась какими-то странными прыжками — на спине ее как будто сидел крупный зверь. И тотчас поток животных иссяк, только шум уносящегося табуна еще долетал со стороны перевала. Я остался один и побежал к месту, где привязал оленей.

Трясущимися руками я запряг их, и они тотчас же рванулись вслед за табуном. Несколько раз нарта переворачивалась, меня волокло по исковерканному оленями снежному полю, пока наконец ездовые не останавливались и мне удавалось подняться. Только через полчаса после внезапной тревоги я попал в табун и разыскал Чилькина. Он стоял над убитой важенкой и снимал с нее шкуру.

— Росомаха пришла,— коротко пояснил он мне.— Что так долго?

Я рассказал, как было дело.

— Напрасно оленей распряг. Если бы был на нарте, они унесли тебя вслед за табуном.

Об этой ошибке мне сказал утром и бригадир. Он не сердился, но я и сам понимал, что на экзамене провалился: не смог удержать табун. В тот же день мы кочевали на новое место. Едва я немного поспал после дежурства, как Наталья подняла меня и заставила собираться. Все пастухи ушли в табун ловить оленей, а женщины в спешке складывали на нарты шкуры, отвязывали веревки, крепившие палатку, снимали в юрте шесты.

— Кочевать, кочевать,— напевала Наталья. Старая тундровичка радовалась переезду, а у меня он вызывал скрытое раздражение. За прошедшие несколько дней я обжился, запомнил окружающие горы, с удовольствием глядел утром на знакомые силуэты. Мне не хотелось вновь собирать на нарту вещи, постепенно перекочевавшие в мой угол в палатке.

Подъехали пастухи, ведя за нартами вереницы ездовых оленей. Волей-неволей пришлось поторопиться, собирая свои вещи, и помочь товарищам. За полтора часа мы уложили на грузовые нарты пожитки, палатка и яранга превратились в четыре больших тюка. Для них Митрай сделал специальные нарты — больше обычных грузовых и с ремнями для крепления тюков. На месте недавнего лагеря выстроился длинный обоз оленей. За каждой легковой нартой были привязаны одна за другой грузовые нарты; в каждую впрягли по одному ездовому оленю. Долганский, ехавший впереди, встав на нарту, оглянулся назад — все ли у нас готово, потом медленно двинулся вперед. Зазвенел колокольчик на шее одного из оленей, словно вместо нас прощался с местом, давшим оленям корм. Одна за другой тронулись вперед упряжки.

За время, что я прожил в бригаде, она кочевала дважды. Перед переездом Долганский ездил на разведку, смотрел, где больше корма для оленей, где меньше снега. Места же, где удобно поставить палатку, были известны заранее. Кто знает, какое поколение пастухов кочевало в этих местах, ставило свои палатки. Как-то я спросил у Ивана Петровича, где он родился.

— Здесь и родился,— ответил он.— Километров пять отсюда. Там стояли юрты и отец держал свой маленький табун.

— Сколько же у него было оленей?

— Наверное, сорок или пятьдесят.

По национальности Долганский был эвен. Его родители вместе со своим родом кочевали откуда-то из-под теперешнего Охотска. Эвены жили не только оленеводством, но и охотой, рыбной ловлей. Они пришли на Камчатку еще без нарт: и стар, и млад верхом на оленях, пожитки вьюками. Они прибыли на земли, где издавна жили коряки и южные чукчи. Наверное, поначалу гостей встречали не слишком приветливо. Потом различия в укладе жизни сгладились. При мне верхом на оленях ездили уже лишь женщины и дети, да и то летом. Точно так же эвены переняли от аборигенов одежду. Лишь женщины носили эвенские дошки — своеобразные меховые пальто и ярко расшитый бисером и кусочками меха передник под ним.

Долганский разместил палатки в долине маленькой речушки. Со всех сторон нас окружали горы. Приходилось подниматься по узкому каньону, чтобы попасть в табун. Сверху хорошо была видна пойма реки Вывенки — белые ленты замерзших проток, пролегшие между черных от леса островов. От нашей стоянки до Вывенки было километров пять.

В один из дней вместе с Бэлой я отправился туда погулять. Чилькин посоветовал мне захватить с собой лапки — плетеные лыжи. Без них я едва ли мог ходить в лесу по глубокому рыхлому снегу. В горах, где мы держали табун, снегу было немного — по колено, к тому же местами он так уплотнился под напором ветра, что выдерживал человека. До Вывенки добрались без приключений. Один или два раза нам встретились следы лис да несколько куропаток взлетели задолго до нашего приближения.

Зато у реки весь снег был истоптан. Заячьи тропы пересекали речные протоки и лес в разных направлениях. Встречались настоящие «шоссе» — глубоко промятые в снегу, шириной четверть метра. Горностаи, лисы, выдры, росомахи и даже соболь, довольно редкий в нашем районе, оставили на снегу свои следы. Возбужденная обилием запахов, Бэла сновала по лесу. Временами раздавалось короткое басистое взлаи-

вание, но, видимо, ей никого не удавалось загнать на дерево. Иначе бы она, как и положено чистокровной лайке, уже не ушла бы с этого места, пока не дозвалась меня.

Ходить на плетеных лыжах по лесу было нелегко — я то и дело цеплялся за прикрытые снегом кусты. И все же прогулка доставляла мне огромную радость. Видно, тот, кто с детства любит леса Подмосковья, всегда будет чувствовать себя неважно на открытых просторах. Лес у Вывенки был довольно густ, а старые тополя достигали толщины в два обхвата.

Вдруг до меня донесся азартный лай Бэлы — отрывистый, басовитый, словно удары колокола. Я был без ружья, но все-таки азарт охотника взял свое: спотыкаясь о занесенные снегом кусты, ломясь через заросли, я побежал на голос собаки. Она облаивала большой тополь, причем стояла не у подножия его, а в стороне. Несколько минут я не мог заметить зверя. Наконец на толстом суку метрах в восьми от земли кто-то шевельнулся. Мелькнула мысль, что это большой медвежонок, и тотчас я понял, что ошибся.

— Рысь!

Крупная серая кошка с изумительно красивыми кисточками на ушах лежала, плотно прижавшись к толстой ветке. Бэла, как видно, не решалась подойти к ней поближе. Но мое появление придало собаке храбрости. Громоподобный бас зазвучал еще оглушительнее. В азарте она то и дело поднималась на задние лапы. Но рысь оставалась совершенно неподвижной: и тело, и уши, и глаза — трудно было понять ее намерения. Вдруг она встала на ноги, видимо готовясь к прыжку. Тотчас Бэла залилась на полтона выше, в некоторые мгновения она уже не лаяла, а визжала от злобы.

На Камчатке нет рысей. Наша с Бэлой находка показывала, что они могут проникать сюда из Сибири, и расположение совхоза на Камчатском перешейке вполне такую мысль оправдывало. Как ни интересно было смотреть на красивого зверя, я надел на Бэлу ремень и потянул прочь. Стравливать ее с таким противником я боялся: у рыси ведь имелись не только зубы, но и когти.

Вдохновленный интересной прогулкой, я попросил через несколько дней Ивана Петровича поймать мне

оленей и поехал к месту впадения Лулуваям в Вывенку. Значительная часть долины заросла там ольховым и тополевым лесом. Я надеялся увидеть что-нибудь интересное. На этот раз я захватил с собой дробовое ружье. Бэла весело бежала рядом с нартой. Я, конечно, не думал, что из-за нее мое путешествие окажется куда как невеселым. Огорчения начались, когда я еще только подъезжал к кромке леса. Большая стая куропаток, наверное сотни полторы птиц, сидела на снегу. Бэла с лаем кинулась к ним и распугала раньше, чем я приблизился. Потом птицы расселись на деревьях у опушки — черная стена леса запестрела множеством белых комочков. Но азартный пес и на этот раз не пожелал ждать, помчался к ним. В тайге, где обычно используют лаек, глухари, тетерева, иногда даже рябчики не обращают внимания на лающую у подножия дерева собаку, и это позволяет охотнику подойти к ним на дистанцию выстрела. Но здесь невысокие ольховые деревья отнюдь не давали птицам такого ощущения безопасности. Бэла прыгала на снегу в каких-то пяти метрах от них, и, конечно, куропатки одна за другой улетели. Бэла бежала вдоль опушки леса, распугивая всех подряд.

Привязав оленей на террасе, чтобы кормились, я часа два бродил по лесу, по речным протокам. Когда короткий зимний день уже начал тускнеть, Бэла вдруг унеслась куда-то. Послышался лай, но не успел я подойти поближе, как звуки стали слышаться немного дальше. По следам я быстро понял, что Бэла увязалась за росомахой. Случись ей схватить зверя на земле, лайка, наверное, справилась бы с ним. Но в том-то и дело, что не было надежды догнать росомаху. Уж она не стала бы смирно дожидаться на дереве охотника и тем более не дала бы поймать себя на земле. По мнению охотников и пастухов, росомаха по ловкости и уму выделяется среди хищников. Впрочем, и силой она обладает удивительной.

Я начал звать Бэлу, но, увы, она не отличалась «отзовитостью». Этот недостаток собаки был мне хорошо известен. Ни крики, ни выстрелы в воздух не помогали. Прождав до темноты, я вернулся в бригаду. Не ночевать же было в тундре из-за глупого упорства пса. Однако утром стало жалко его. Я поехал на то место, где оставил Бэлу. Она ждала меня, на вид ни-

чуть не огорченная всем случившимся. Чем окончилась ее охота на росомаху, осталось неизвестным.

Время от времени проезжие пастухи привозили мне из поселка письма от главного механика, заменявшего меня во время отъезда. Там накапливалось все больше дел, требовавших моего приезда. Волей-неволей нужно было возвращаться. Перед отъездом мы засели с Чилькиным за месячный отчет бригады. Он был опытным учетчиком, так что мне оставалось лишь подписывать заготовленные акты о забое оленей на питание бригады, наряды на пошив одежды для пастухов. Собственно, женщины шили для мужей и товарищей, но их изделия считались уже спецодеждой, выданной совхозом. Так получалось, что женщины не чувствовали себя не у дел, вносили свой вклад в работу.

Последней рассчитали мы с Чилькиным ведомость на съеденное мясо. За него предстояло расплачиваться в бухгалтерии. Суммы тут были небольшие: пастухи и специалисты получали его по очень небольшой цене. И я не без гордости прочитал против своей фамилии цифру: пятьдесят килограммов. Съесть за три недели столько мяса — для меня это было рекордом.



ЛЮБОВЬ К ОЛЕНЕНКУ

К началу отела я опоздал, приехал в табун, когда по снегу уже ковыляли вслед за матерями десятка два малышей. Однако до массового отела было еще далеко. В день рождалось по два, по три олененка, работы у пастухов и у меня было немного. Погода стояла отличная: легкий мороз, солнце. Свету вокруг было столько, что без темных очков из палатки не выйдешь.

Как обычно весной, табун пасли по частям. В одну отделили важенок, готовившихся стать матерями, и немного ездовых оленей, в другую (печвак, или бык-табун, как называли ее пастухи) — быков, молодых оленей, родившихся в прошлом году. Из-за молодняка в общем-то и приходится делить табун. В природе оленухи сами отгоняют от себя уже подросших за год телят или убегают подальше. Молодые олени присоединяются к взрослым самцам и отправляются с ними на север. В домашних условиях, где человек наперекор желаниям животных удерживает их вместе, ему приходится проводить такое деление. Если оставить прошлогодних телят с матерями, они будут сосать молоко, отгоняя более слабых младших.

Печвак пасли двое наших товарищей. Исхудавшие и не связанные заботой о новорожденных, олени в бык-табуне очень подвижны. Ищут места более богатые кормом. А может быть, в них уже просыпается инстинкт миграции, который ведет в это время их диких родичей на север. Пастухам, следившим за этим табуном, приходилось нелегко.

Важенок пасли три пастуха вместе с бригадиром Степаном Кильно. Так уж принято, чтобы бригадир находился в отельном табуне — он больше всех отвечает за сохранность телят.

Как только я приехал, Степан отправился на дальнюю разведку пастбищ. Он знал мое желание помогать пастухам на дежурстве и воспользовался этим, чтобы отлучиться. Табун пасся вдоль правого берега реки Вулвияховаям, по пологим невысоким увалам. Здесь было немного снега и вполне достаточно корма. Но случись в этих местах пурга или даже просто морозный ветер, табун нужно было бы немедленно угонять.

Мы остались втроем: Федя Делкани — молодой, добродушный парень, Ваям — человек пожилой и молчаливый и я. В палатке хозяйничала жена бригадира Рая. У нее тоже была помощница — пятилетняя Ненак. Мы в палатке особенно не задерживались, так что «женщины» большей частью были одни. Федя с Ваямом дежурили по ночам, а я днем. Но Федя, поспав после дежурства, обычно опять приходил ко мне в табун. Помогал, развлекал разговорами, иногда дремал, завалившись где-нибудь на солнцепеке, набросав на снег веток, чтобы не подтаивал снизу.

Мы только обошли табун, проверили, все ли в порядке, поймали двух новорожденных телят и поставили клеймо (попросту отрезали кусочек уха с нижней стороны) и теперь отдыхаем. Солнце такое горячее, что его чувствуешь даже через кухлянку. У меня нет никакого желания вести длинный разговор. Отвечаю Феде коротко, только чтобы не обидеть. Тогда он выбирает самый лучший вариант — начинает рассказывать сам.

— Когда меня посылали лечиться в Свердловск, я сначала сильно боялся. А мне врач говорит: что ж ты боишься, ты же хорошо по-русски говоришь. А я ему отвечаю: ну, это я здесь хорошо говорю. Я думал, что на материке люди по-другому говорят.

Федя высок и силен. У него круглое лицо, веселые черные глаза. Не верится, что он тяжело болел, да и сейчас не совсем здоров.

— Как ты себя чувствуешь, Федя?

— Хорошо. Мне доктор разрешил работать. Он сказал, все равно твоя болезнь не пройдет, пока не станешь совсем взрослым. Тогда легкие станут крепче и не будут болеть.

— А сейчас грудь не болит?

— Нет. Она болит только к плохой погоде. Я всегда знаю, какая будет погода. Меня даже Степан спрашивает об этом. Я здоровый. Меня только Олелей раньше

обгонял. Но теперь я бегаю еще лучше. Хотите побежим, пока табун отдыхает?

Мне не хочется бежать. У Феди длинные ноги, и по снегу его не обогнать. Табун начал шевелиться. Старый ездовой олень, весь белый, так что иногда кажется, что по снегу движутся только черный нос и пара глаз над ним, потянулся вверх, на гребень увала кормиться. Мы не останавливаем его. Оленям уже пора обедать. За белым оленем двинулось несколько молодых важенок. Понемногу тронулся на выпас весь табун. Солнце клонится к западу. По-прежнему тишина стоит над снежными увалами. И ее подчеркивает негромкий хруст раскапываемого оленями снега. Мы расходимся в разные стороны — поискать, не родились ли еще оленята. После отдыха их обычно рождается больше. Мы еще вернемся на это место и поэтому оставляем здесь мешочек с чайником и лепешками, а Федя — свой карабин.

С полчаса я ходил один, кругом все тихо. Вдруг до меня как будто донесся чей-то крик: «Ку-у, ку-у». Прислушавшись, я убедился, что кричит Федя. На ходу заворачивая слишком далеко отошедших от стада оленей, я пошел к нему. Федя кричал еще и еще. Я начал торопиться. Олени разбегались в разные стороны, но теперь уже не было времени собирать их. На моем пути встретилась только что отелившаяся важенка. В другое время я обошел бы ее очень осторожно, стороной, а теперь проскочил рядом. Она испуганно захоркала, шарахнулась в сторону, долго еще не могла успокоиться. Я слышал ее глуховатое хорканье сзади. Наконец одолел пологий склон, оказался в долинке ручья и уже почти бегом стал спускаться вдоль него. У группы кустов я увидел Федю. В руках он держал оторванную голову олененка. Вокруг было настоящее побоище. С десяток тушек мертвых оленят валялось между кустов. Кровь их еще не замерзла. Снег кругом был истоптан медведем. Запах его еще стоял в неподвижном воздухе.

— Я убью его,— сказал Федя.

— Подожди, я сбегаю к палатке за своим карабином, и пойдем вдвоем.

— Нет, он далеко уйдет. Лучше держи табун, может, опять придет и напугает оленей, еще телята умрут. Я один.

Федя побежал к тому месту, где оставил свой карабин. Я несколько мгновений колебался, не зная, что предпринять. До палатки было с полчаса хода. Все же я решил бежать туда и по крайней мере издалека вызвать в табун Ваяма. Бегать по снегу тяжело, особенно в теплый день. Очень скоро я взмок. Наконец с гребня увала стала видна палатка и кто-то из людей рядом с ней.

— Кайнен, кайнен (медведь)! — изо всех сил кричал я. До палатки оставалось уже с полкилометра, когда меня наконец поняли. Я увидел, как Ваям в спешке запрягает в нарту оленей. Еще через несколько минут он подъехал, держа на коленях и свое и мое оружие. На гребне увала мы на несколько секунд задержались. В бинокль я разыскал Федю и медведя. Их разделял еще почти километр. Ваям погнал оленей наперерез.

Медведь уже заметил погоню, но по рыхлому снегу не мог быстро бежать. Федя постепенно настигал его. Я и сейчас представляю себе его высокую, стройную фигуру, легкие прыжки. Выглядывая из-за спины Ваяма, я все время мерил глазами расстояние между Федей и медведем. Ваям гнал оленей по гребню. На несколько секунд борт увала закрыл от нас Федю. Медведь наконец понял, что не уйдет, остановился и сел на снегу, словно собака. До него оставалось метров сто, когда я на ходу соскочил с нарты, плюхнулся на снег, быстро расправил сошки своего карабина и передернул затвор. Тотчас остановил оленей и Ваям. Мы стреляли почти одновременно. Потом на оленях подъехали к убитому зверю.

Феди не было видно. Я взял у Ваяма оленей и поехал ему навстречу. Он лежал на снегу и, похоже, плакал. Рядом с ним я увидел на снегу кровь. Только что решительные и суровые глаза моего молодого друга теперь были полны слез и отчаяния. Держась рукой за грудь, Федя пытался унять кашель и не мог. Он хватал ртом снег, подняв кухлянку, прикладывал его к груди. Я обхватил его сзади за плечи, пытался приподнять, бестолково повторяя: «Федя, ну что ты, Федя».

Пришел Ваям. Мы помогли Феде сесть на нарту. Его пошатывало от слабости. Ваям остался возле медведя — свежевать, а я отвез Федю домой. Рая осторожно и быстро сняла с Феди испачканную кухлянку, уложила на мягкую оленью постель, укутала. Маленькая Ненак гладила его по лицу рукой и, не зная, чем помочь, начала потихоньку напевать ласковую колыбельную песенку, которую пела ей мать. Скоро Федя заснул.

Ночь мы продежурили с Ваямом. Утром собрали загубленных медведем оленят и отвезли к палатке. Пока пили чай, подъехал Степан. На маленьком совете было решено отправить Федю на «Стройку». Я написал записку Ивану Петровичу Долганскому. Его табун находился как раз на пути к поселку. Я просил дать Феде сопровождающего пастуха, с тем чтобы Ваям мог вернуться к нам. На стройке меня в это время замещал Боев. Он должен был направить в нашу бригаду замену Феде.

Мы провожали Федю и Ваяма второпях. Погода начинала портиться, и, по мнению Степана, нужно было срочно перегонять табун на новое место.

— Не огорчайся, Федя,— говорил я,— подлечат — и летом поедем вместе к морю.

— Нет, сейчас я надолго уеду,— спокойно и серьезно отвечал он.— Доктор наверняка пошлет меня на материк, а там подолгу лечат. Наверное, полгода будут лечить. Я знаю, ведь один раз уже так было.

Федя ошибся ненамного. Он вернулся к нам лишь через год и попал лечиться не на Урал, а в Крым.

А мы в тот же день кочевали. Степан с Раей перевозили вещи, а я потихоньку гнал по их следу табун. Телят было еще немного, так что переход оказался не таким уж трудным. Важенок, отелившихся накануне, мы оставили пока на старом месте, чтобы подросли их оленята. Постепенно табун растянулся длинной лентой по проложенной ездовыми оленями дороге. Я то вел своих ездовых в поводу, то садился на нарту. Когда мне надоедало повторять протяжный гонный крик: «Э-хей, э-хей-хей, о-го, о-го-го», я начинал кричать: «Давай, давай, ходи, ходи, там впереди хо-ро-шо, о-го». Наверное, вот также рождается у северных людей привычка петь песни о том, что видишь, о чем думаешь.

На новом месте жизнь снова потекла своим чередом. Степан с Ваямом дежурили ночью и по очереди опекали меня днем. Рая варила нам еду и сушила одежду. Кроме того, она начала шить летние плекты

(летняя обувь из продымленной оленьей замши), а это была долгая и нелегкая работа. Ненак крутилась возле матери. Старшие дети Степана и Раи учились в школе-интернате в Хаилино, а младшую они растили сами. Ребенок радовал не только родителей, но и всем нам было как-то приятнее возвращаться домой, зная, что встретим там веселую, приветливую девочку.

В теплый солнечный день я взял маленькую Ненак с собой на дежурство. Посадил сзади на нарту и привез в стадо.

— А я что буду делать?

— Что все пастухи. Смотреть за телятами, чтобы никто из них не умер.

Я пошел краем стада проверить, все ли в порядке. Через несколько минут обернулся — Ненак ковыляла далеко позади. Снег был слишком глубок для нее. Я вернулся обратно:

— Не ходи за мной. Смотри за каким-нибудь одним теленком.

Осмотревшись вокруг, я подвел Ненак поближе к одной из только что отелившихся оленух. Через час, когда, обойдя весь табун, широко разошедшийся по склону горы, я вернулся, Ненак была на прежнем месте и внимательно наблюдала за новорожденным. Я лег рядом на снег, подставил лицо теплому солнцу, закрыл глаза. Вдруг Ненак зашептала:

— Встает, встает! — Она положила мне руку на грудь, чтобы я не шевелился и не пугал олененка. И вдруг закричала: — Упал, упал! — Пока я очнулся от сна, Ненак уже была возле теленка, удерживая его на ногах. Испуганная мать мчалась прочь от нее.

— Оставь его. Оленят нельзя трогать, а то мать бросит.

— Но он же ушибся.

— Ничего. Главное, чтобы не было на нем чужого запаха. Отпусти скорее.

Я увел Ненак в сторону и подождал, пока важенка, испуганно хоркая, вернулась к сыну.

Теленок пытался встать. Задние ноги были у него посильнее, он вставал на них, а передние подгибались, и теленок тыкался мордочкой в снег. Однако он снова и снова повторял попытки. Минут через двадцать он научился стоять на коленках.

Я ушел в обход стада и вернулся часа через полтора. К этому времени теленку уже было от роду часа четыре. Он деловито бродил вокруг матери на коленках, но совсем встать не мог, сейчас же падал.

Метрах в трех от места, где он лежал с матерью, начинался крутой склон. Ползая возле матери, теленок оказался у края. Мне не хотелось лишний раз беспокоить мать, и я не велел Ненак оттаскивать теленка в сторону. Вдруг он в очередной раз попытался встать, упал в сторону склона и покатился вниз. Ненак бросилась за ним. В своих меховых штанах она съехала, как на санках. Внизу моментально вскочила на ноги, ожидая теленка. Он в последний раз кувыркнулся, попытался встать, увидел перед собой Ненак и так громко крикнул «а!», словно она собиралась его съесть. Потом бросился от нее по склону вверх, к матери.

— Смотри, уже бегает,— кричала мне снизу Ненак,— совсем хорошо бегает. Как олень.

Наблюдать за телятами так понравилось Ненак, что она стала в каждый теплый день проситься взять ее в табун. Здесь она выбирала себе одного из малышей и целый день наблюдала и заботилась о нем. Впрочем, были дни, когда табун пасся прямо вокруг палатки, и Ненак могла водить дружбу с оленятами, не уходя от дома. Удивительно, что оленята как будто принимали ее «в свою компанию». Я не раз наблюдал, как она бегала с ними наперегонки, как оленята заигрывают с ней точь-в-точь как с товарищами: несколько секунд набычившись смотрят, потом делают внезапный прыжок в сторону, взбрыкивают и поднимаются на задние ножки — словно атакуют, а потом бросаются наутек.

Когда олени были «дома», нужно было держать ухо востро, чтобы они чего-нибудь не изжевали. Недостаток соли в зимнем корме, видимо, настолько истощил запасы ее в организме оленей, что они готовы были съесть все, что только могло им помочь,— кости, рога, угольки от костра, одежду и продукты пастухов. Проводившаяся нами подкормка солью, конечно, не могла устранить солевое голодание. Осмелев, олени становились назойливыми, отбегали недалеко, когда их прогоняли, и вскоре снова возвращались. Находились и такие, что повадились вылизывать кастрюли и котел, заглядывали в палатку, норовя утащить что-нибудь и отсюда. Из-за таких вот нахалов у нас произошла уди-

вительная история, о которой впоследствии было напечатано в районной газете.

Один из ее корреспондентов — Уразов (кстати сказать, мой хороший друг) заехал к нам по пути из Верхних Пахачей. Конечно, для того чтобы написать очерк об отельной кампании в совхозах района, можно было бы и не забираться так далеко. Но ему хотелось как можно «глубже вдохнуть» в себя пастушескую жизнь. Встретиться с товарищем было для меня большой радостью. После чаепития я повел его в табун. Показывал так, словно знал оленей уже десяток лет. Впрочем, за две недели я и впрямь как-то сроднился с этим стадом, многих оленей уже знал в «лицо». Вечером мы устроили небольшой пир и спать улеглись уже глубокой ночью. В маленькой брезентовой палатке было тесновато. Все легли вдоль палатки, ногами ко входу. С того края, где у входа стояла печка, легли как обычно, Рая и Ненак, рядом с ними — Степан, дальше Уразов и его проводник и, наконец, я в своем любимом правом углу. Я ценил это место, потому что клал у края палатки, чтобы никто не наступил, свои фото- и киноаппараты, аптечку и другие хрупкие вещи.

Среди ночи всех нас разбудила яростная ругань Уразова. Рая зажгла свет, и мы в недоумении глядели друг на друга и на Уразова. Когда же выяснилось, что произошло, мы стали смеяться так, как, наверное, не смеются даже в цирке.

Среди ночи Уразову захотелось прогуляться. Осторожно, чтобы никого не разбудить, пятясь задом, он выполз из палатки и спустился по крутому спуску вниз к ручью. Было темно, к тому же он довольно быстро промерз и потому забирался в палатку уже гораздо более решительно, чем уходил. У печки он загремел посудой. Проснулась Рая. Ей показалось, что это олень пытается промышлять в палатке что-нибудь съестное. Не открывая глаз и не поднимаясь, она высвободила ногу из-под одеяла и толкнула прохвоста пяткой, как это не раз делала раньше. Уразов в этот момент как раз пытался забраться в палатку. Мощный удар в лоб заставил его скатиться к ручью. Здесь он немного пришел в себя, приободрился и сделал вторую попытку. На этот раз он пытался проникнуть в палатку более осторожно, но и Рая уже не дремала. Рев журналиста, получившего вторую затрещину, и разбудил всех нас. Утром эту ночную историю рассказывали все в новых вариантах. Шуткам не было конца.

Замены Феде еще не было, и мне пришлось остаться у Степана, хотя следовало навестить соседние бригады — узнать, все ли там в порядке. В эти дни на мое попечение поступил Хоя. Он родился в рубашке из белой прозрачной кожицы. Она трепетала у олененка на спине. Вдруг подул ветер, что-то тихо зашипело, и на глазах важенки начал надуваться шар. Важенка бросилась бежать, оставив и стадо и маленького Хою. Мы целый день ее искали. А Хоя черным комочком с белым пятнышком на лбу тихо лежал под кустом. К вечеру Степан все же пригнал важенку в табун, и мы поймали ее арканом. Я разрезал на Хое ножом рубашку и подтолкнул его к матери. Горбатым паучком на подгибающихся ножках он побрел к ней, бесстрашно ткнулся мордочкой в ноги матери, а она испуганно отступила. Тусклые глаза олененка потеряли мать, и нам пришлось снова его подтолкнуть поближе. Важенка выставила навстречу ему рога — она не хотела его принимать. Тогда мы нашли место, где снегу было поменьше, где важенка могла кормиться, и тут же ее привязали. Потом подбросили Хою. Снова он на дрожащих ножках бродил возле нее, а мать то и дело била его копытом, отбрасывала рогами.

— Она убьет его. Нужно связать ей ноги,— сказал я Степану.

— Жалко аркан, но придется,— ответил он.— Держи ее, я попробую.

Было уже темно, где-то в стороне свистел Ваям, а мы все возились с белолобым теленком и его матерью. Степан тихо говорил важенке:

— Попробуй только не возьми. Убью, правда, убью. Этой же осенью сдам в магазин, на консервы пойдешь.

Важенка не понимала его, билась, рвалась у меня из рук до тех пор, пока не лишилась сил.

Степан во всем отличался редкой настойчивостью. Так и начав уговаривать, он долго не сдавался.

— Дура. Ведь тебе же станет лучше. Будешь водить своего теленочка, будешь настоящей важенкой.

Однако кроме слов он использовал и старинный народный прием вязки недобрых матерей. Он связал ноги попарно, потом натянул среднюю связку, а от нее протянул ремень к кусту. Оленуха не могла ударить ма-

лыша, но была способна ходить мелкими шажками. Важно было, чтобы она стояла, потому что только при такой позе матери оленята могут сосать молоко. У лежащей важенки им не удается найти вымя. Все врожденные реакции олененка рассчитаны на позу стоящей важенки. Когда мы уходили, Хоя побежал следом. Он еще плохо отличал человека от оленя. Я несколько раз поворачивал его головой к матери, потом, уже рассердившись, отбросил к ней. У большой куртины кустов я отыскал свою нарту, запряг ездовых оленей и поехал вниз к палатке.

Рая молча, но с обычной своей милой улыбкой поставила передо мной кружку с чаем, положила галеты и сахар. Немного отогревшись, я переоделся и завалился в свой угол спать. Ночью часа в два я проснулся от шума. Ветер повалил печную трубу. Полотнище палатки гудело, выгнувшись под напором ветра. Я вылез из палатки и поставил трубу на место. Кажется, пурга разыгрывалась всерьез. Я вернулся в палатку и начал одеваться. Ехать в табун было трудно, я почти не следил за дорогой, олени сами тянули меня знакомым путем к табуну.

Табуна на месте не оказалось. Ночные дежурные, наверное, согнали оленей вниз в распадок, где ветер был слабее. Я хотел найти Хою с матерью, и, побродив с полчаса по склону, мне удалось это сделать. Прежде всего я накормил малыша. Мать по-прежнему дичилась, и ее пришлось повалить. Хоя смешно чавкал, то и дело терял сосок, и мне пришлось снова и снова тыкать его мордочкой в вымя. Дальше надо было как-то перевести их пониже по склону, там, где не так сильно дул ветер. Вначале важенка шла довольно охотно, потом заупрямилась, и мне ничего не оставалось, как оставить ее в покое. Все же новое место было лучше старого. Когда я вернулся за Хоей, он лежал свернувшись клубочком, почти занесенный снегом. Я притащил его волоком к матери и здесь оставил.

До рассвета оставалось недолго, ехать к палатке мне не хотелось, и поэтому, привязав своих ездовых у куста кормиться, я завалился рядом с нартой. Поначалу было прохладно, задувало под капюшон, холодило лицо снежинками. Потом я притерпелся, стало уютнее, и я заснул. Часа через полтора, поворачиваясь с боку на бок, я вдруг заметил маленький черный ко-

мочек, подвалившийся ко мне. Комочек выпрямился, поднялся на ноги. Это был Хоя.

— Что, брат, пригрелся? — сказал я ему.— Ну молодец, знаешь, кто тебя любит.

На рассвете я спустился к палатке попить чаю, а потом вернулся опять в стадо. Нужно было снова и снова обходить табун, тревожить оленей, чтобы малыши поднялись, потянулись, походили, согрелись, а их матери покормились. Смешно смотреть, как важенка, испуганная пастухом, носом или копытцем расталкивает своего олененка, а он не хочет вставать. Наконец не спеша поднимается, вытягивается на своих тоненьких ножках, выгибает спинку.

Пурга кончилась только к вечеру. Как раз подъехал Кававтагин, пастух, посланный из Хаилино на смену Феде. Я его хорошо знал. В поселке он работал конюхом и по совместительству развозил в бочке воду. Он казался там довольно неуклюжим человеком, неряшливо одетым. А здесь, в табуне, как-то сразу преобразился. Откуда-то взялась и щегольская одежда. Оказалось, что он мастерски владеет арканом. Как раз утром начали ловить ездовых оленей, чтобы кочевать. Пурга прибавила снега, нужно было скорее вести табун вверх, к высоким хребтам, куда ездил на разведку Степан.

Встал вопрос и о Хое. Их отношения с матерью немного наладились, но вполне вероятно, что, оказавшись на свободе, важенка могла опять бросить своего сына. Поэтому мы отпустили ее с веревкой на шее, чтобы потом было легко поймать. Поначалу важенка не сообразила, что свободна. Когда весь табун тронулся вперед, она осталась на месте: привыкла к тому, что привязана. Потом постепенно пошла вперед. Настал критический момент: обернется ли, подумает ли об олененке? Важенка отбежала шагов на двадцать, потом остановилась, оглянулась вокруг, словно что-то пыталась вспомнить, и негромко позвала сына. Он тотчас же откликнулся, подбежал, и они уже вместе тронулись вперед.

Эта парочка для постороннего мало чем отличалась от других. Но я надолго запомнил и мать, и малыша с белым пятнышком на лбу. Осенью, когда Долганский показывал мне олененка, пролежавшего двое суток без матери, я удивился, что можно так хорошо их различать. Тогда они казались мне очень похожими.

И вот у меня тоже появились добрые знакомые. Своего Хою я отличил бы и среди сотни других оленят.

Приезд Кававтагина позволил мне уехать в соседнюю бригаду, где я пробыл дней десять. Там были и свои брошенные оленята, и свои невзгоды. Несколько раз приходилось помогать молодым важенкам отелиться. Но хочется докончить рассказ о бригаде Степана Кильно, куда я вернулся, чтобы просчитать новорожденных.

Отел уже подходил к концу. Погода стояла чудесная. Ночью примораживало, а днем ярко светило солнце. Старик Ваям предложил мне съездить на подледную рыбалку. Дело это оказалось таким увлекательным, что я на два дня засел на Вулвияховаям, мечтая побить все рекорды рыболовов. Конечно, в глубине души меня грызла совесть за этот затянувшийся отдых. Должен же человек иметь хотя бы два выходных в месяц, успокаивал я себя.

Вернувшись к палатке с неплохим уловом, я отоспался и отправился в табун. Он пасся неподалеку. Всюду чернели большие проталины, но и там, где снег сохранился, ходить было нетрудно — он здорово уплотнился, осел. Еще издали я заметил, что Степан настойчиво пытается поймать какого-то оленя. Подождав, пока он в очередной раз промахнется, я подошел к нему вплотную.

— Смотри-ка, опять трогает,— сказал мне Кильно, показывая рукой на крупную серую важенку. Она упорно ходила вокруг молодой оленухи, пытаясь зайти сзади. Оленуха вяло огрызалась, выставляла рога. Потом, забывая о назойливой соседке, ложилась, вытягивала шею, по телу ее пробегали судороги. Степан сначала осторожно отогнал важенку в сторону, а потом запустил в нее камнем. Он вернулся ко мне, и мы несколько минут смотрели, как телится молодая оленуха. Уже показались ножки теленка, и до его появления на свет остались считанные минуты. У оленей это происходит быстро.

— Снова идет,— показал я Степану на серую разбойницу. Важенка шла, косясь на нас, испуганная, но настойчивая. Следом бойко бежал теленочек. Если бы не он, мы бы давно убили эту «тетку». Она уже загубила нам восемь телят, обгладывая во время родов их ножки.

— Тоже попробую,— сказал я Кильно, взял свой аркан и пошел к серой. Она не отбегала далеко, но подойти на длину аркана не удавалось. Я не мог громко кричать или бегать: вокруг по холму растянулся табун, я боялся напугать оленей. Наконец важенка испугалась моей настойчивости и ушла от телящейся оленухи.

Где-то в стороне свистел мой товарищ по смене. Кильно, отдежуривший целый день, ушел к палатке. Когда я вернулся к молодой оленухе, она уже отелилась и теперь старательно вылизывала черный мокрый комочек. Я подождал, пока она закончила, и, осторожно подкравшись, отрезал теленку кончик левого уха. Мать с криком бегала вокруг, и я постарался поскорее закончить свое дело. Отойдя в сторону, я закричал: «Эть, эть, эть», подражая теленку. Мать тотчас вернулась к своему сыну, обнюхала его и, уже успокоенная, легла. Сгущались сумерки, мы торопились обойти и пометить до темноты всех новорожденных. То и дело я встречал рядом с ними серую «тетку». Она бродила вокруг не хуже росомахи, но олени считали ее за свою.

Вдвоем с товарищем мы расположились у верхней кромки холма, натаскали дров и разложили костер, пережидая темноту. Подмораживало, мы немножко мерзли. После чая здесь же у костра мы прилегли на два недолгих часа, которые занимает в это время ночь. Забрезжил рассвет. Легкая дрожь пробирала тело, но, пока я разжигал костер, она прошла. Снова согревшись чаем, мы разошлись в разные стороны. Новорожденных телят было немного, но меня беспокоило отсутствие серой важенки. Часам к пяти она пришла откуда-то из-за холма, ведя своего теленка. Совсем недалеко от меня она остановилась и кормила его. Я отлично видел, как он, упершись копытцами в землю, изо всех сил тыкался мордочкой в живот матери.

С восходом солнца табун, кормясь, расходился все шире, и мы не удерживали его, чтобы важенкам и новорожденным было спокойнее, так они не мешали друг другу. Обходя табун, я завернул за холм и вдруг заметил вдалеке одинокую важенку. Мать ушла из стада, чтобы отелиться в одиночестве. Сначала я не стал ее тревожить: такая осторожная важенка может с испугу и совсем бросить своего теленка. Но часа через полтора, уже незадолго до конца дежурства, я пошел туда,

чтобы пригнать ее в стадо. Теленок уже достаточно прожил рядом с ней, чтобы мать привязалась к нему. Не доходя до места, я заметил, что дело неладно. Теленок едва вставал. Он казался каким-то коротконогим, а следы на снегу краснели. Я подошел ближе и увидел, что на его ножках нет копыт. Он пытался встать на свои объеденные ножки, даже немного бродил на них...

— Поймаем серую важенку,— сказал я Кильно, нашему бригадиру, когда он утром пришел на дежурство.— Это уже девятый теленок на ее совести.

— Может быть, испугается табун? — возразил он.

— Нет. Все равно от серой вреда больше.

Когда пришел Ваям, мы осторожно отделили часть табуна. Испуганные важенки громко кричали, созывая своих телят, те в свою очередь хоркали, зовя матерей. Стоял сильный шум, и беспокойство охватило всех оленей. Они стремились уйти в ту часть стада, которая спокойно паслась на холме, а мы, притаившись с двух сторон, пропускали их между собой. Серая важенка несколько раз была совсем близко, но каждый раз поворачивала назад. Она словно знала, что мы хотим поймать ее. Потом вдруг решилась и, не обращая внимания на своего теленка, бросилась сквозь наш строй на выход. Раздался свист четырех арканов. Наконец важенка была поймана.

Вокруг с криком бегал теленок и словно просил пощадить его мать. Для него-то она была самой хорошей. Чтобы изменить запах важенки, мы подпалили спичками шерсть, отрезали ей кончики ушей и хвоста, а чтобы изменить облик, изрезали на ней весь мех, так что он висел клочьями, и другие олени еще много дней после этого шарахались от «тетки» в сторону. С тех пор важенка уже не трогала телячьих ножек.

Наступил день моего отъезда. Рано утром мы решили просчитать стадо Кильно. Приехали пастухи, пасшие до этого бык-табун. Вдвоем с одним из них мы сели на пригорке с записными книжками, а Степан с Ваямом и Кававтагиным начали осторожно, понемногу перегонять табун перед нашими глазами. Сначала олени были смущены, звали своих телят, с недоумением смотрели на людей. Потом, когда справа от нас уже набралась довольно большая группа, те, что были слева, начали сами стремиться к ним. Теперь пастухи заботились лишь о том, чтобы табун не двинулся весь сразу, чтобы олени тянулись узкой цепочкой, которую мы легко могли пересчитать.

В записной книжке у меня заранее было подсчитано, сколько телят должно оказаться, если Степан только выполнил план, и сколько — если он выполнил соцобязательство. В оленеводстве принято рассчитывать среднее количество телят, родившихся на сотню важенок. По плану наш совхоз должен был получить 82 теленка, но впереди больше половины года, за которые немало телят еще могло погибнуть. Так что мне хотелось бы насчитать 90 или больше телят на сотню важенок. Как пригодились бы сейчас десять оленят, задушенных медведем, и те, которых не стали кормить, бросили, несмотря на старания пастухов, матери.

Вот уже последняя важенка с совсем маленьким, только вчера родившимся олененком прошла перед нами. Степан еще издалека кричит мне:

— Ну как?

Неплохо. Есть и план, и выполнено соцобязательство. Конечно, могло бы быть еще лучше. Что ж, будем ждать следующего года.

К МОРЮ



Заботы о поселке отнимали у меня массу времени. Чтобы попасть к оленям, ради которых я приехал на Камчатку, заняться изучением пастушеского ремесла, приходилось вырываться из поселка. Каждый раз я связывался по рации с управлением, спрашивал у начальства разрешение. Поэтому еще зимой я написал заявление с просьбой освободить меня от исполнения обязанностей директора, чтобы в качестве главного зоотехника я мог больше времени уделять оленеводству.

Летом вернулся из длительного «северного» отпуска Виктор Федорович Рыков, проработавший директором в камчатских совхозах много лет. Его и назначали к нам. Заранее подготовили квартиру: у Виктора Федоровича была большая семья. Лет сорока, чуть полнеющий, с неизменной улыбкой на спокойном круглом лице, Рыков сразу же производил впечатление человека, уверенного в себе и знающего дело. Если раньше я постигал премудрости хозяйственной науки самоучкой, то теперь как бы повторял курс с помощью опытного директора, приехавшего в эти края на пятнадцать лет раньше меня. Зайдя вечерком к нему в гости, я слушал рассказы хозяина и его красавицы жены, как начинали они свою северную жизнь. Валентина Акимовна рассказывала, как ехали они на собачьих упряжках от Охотска вдоль побережья Охотского моря и Пенжинской губы полмесяца в лютый мороз, как жили первый год в крохотной бане — единственном домике, рубленном из бревен, во вновь организованном Таловском совхозе. В этой баньке и родилась их первая дочь. Все остальные рабочие и руководители жили еще в ярангах. Да, я попал уже на обжитый Север.

Мы проработали с Рыковым недолго. Следующей зимой он уехал на учебу в Москву, и мне снова пришлось остаться за старшего. Но было уже легче. Рыков сумел многому меня научить. Каждое утро мы вместе обходили поселок, мастерские, скотный двор.

— Тебе на разнарядке нечего делать. Есть прораб, завхоз, механик — пусть ставят людей на работу. А им нужно с вечера все подсказать. Утром некогда обсуждать, что да как.

Во взглядах на метод работы с людьми у нас обнаружилось существенное расхождение. Рыков недолго терпел лентяев, гнал их нещадно. Конечно, я не решался действовать так круто прежде всего потому, что был неопытен. Но была тут и принципиальная несхожесть в подходе. Рыков считал, что можно найти людей, соответствующих порученному делу. Мне же казалось, что все в общем-то одинаковы, главное — найти способ мобилизовать человека, заинтересовать и заставить его выложиться. Конечно, больше это касалось рядовых рабочих. Многие из них привыкли кочевать, трудовые книжки их были заполнены до отказа названиями организаций. Мало проку было бы отталкивать таких людей. Я предпочитал закрывать глаза на очередной прогул или просто поругать, заставляя отработать свой «грех». В конце концов важен результат работы совхоза, а он был примерно тот же у нас с Рыковым, только люди надолго приживались в Хаилино, некоторые обзаводились семьями, оседали насовсем.

В июне, когда и тундра, и склоны сопок уже были на пороге зеленого лета, я стал ждать приезда жены. Как обычно, решал хозяйственные дела, проводил совещания, писал отчеты, но где-то за всем этим в сознании постоянно присутствовала мысль, что приезжает Валя. Может быть, она уже в Петропавловске, может быть, уже летит над Камчаткой. И все же это было неожиданно — мне передали во время совещания записку: «Сижу на аэродроме в Корфе, к тебе летают самолеты, а меня не берут».

Был ясный солнечный день с голубым небом и ласковым ветерком. Над Хаилино то и дело заходили на посадку самолеты. Вся эскадрилья работала на нас, завозила цемент для строительства. В тот день только у нас светило солнце, а у соседей шли дожди. И летчики с редкой готовностью взялись доставить к нам груз.

Я бежал через наш длинный поселок и смотрел в небо, на самолеты — гадал, в каком сидит долгожданный мой пассажир. А на полосе наш поселковый «нап» (начальник полосы) сказал, что летчики передают мне привет и говорят, что возить пассажира на цементе не имеют права. И тотчас же из очередной подрулившей «аннушки» выскочил загорелый крепышик в кожаной куртке — моя Валя.

Мы пошли по уютной дорожке, мимо уже зазеленевших кустов в поселок. Он был как будто специально наряден и уютен, тихо несла мимо свою зеленовато-серую воду Тылга, и по ее берегу между рыбацких батов (лодка, долбленая из ствола тополя) щипали траву коровы.

В мою маленькую квартирку очень скоро понабились соседи и соседки. За неимением стульев одни уселись прямо на пол, другие вытащили из чулана и постелили медвежью шкуру. Валя с интересом смотрела на смуглых молчаливых людей, неторопливо пивших чай, на ящики мармелада и печенья, которые я выдвинул из-под топчана. Ей все было в новинку в нашем мире.

В последующие дни, пока я проводил время в конторе, Валя занималась угощением посетителей. Она быстро освоилась с их равнодушием к этикету и даже смогла преодолеть смущение хозяйки, которая недостаточно хорошо занимает гостей. Как это принято в пастушеском быту, придя в гости, одни соседи принимались растапливать печку и кипятить чай, другие приносили оленину или рыбку, разделывали и варили ее. Женщины часто приходили со своей работой, которую продолжали шить, не обращая внимания на хозяйку. Через много лет мы услышали старинный армянский анекдот и посмеялись, как похоже его содержание на те камчатские впечатления.

На берегу озера Севан сидит старик. К нему подходит другой.

— Привет.

— Привет.

Сидят молча час, другой, третий. Наконец гость поднимается:

— Ну, я пошел.

— Ну куда ты торопишься? — говорит товарищ.— Поговорим еще.

В этом молчаливом общении есть что-то настоящее, что-то от потребности людей быть вместе. Это то, ради чего пастухи не ленятся проехать полсотни километров, чтобы полчаса попить у соседей чаю.

Несколько вечеров мы были в гостях у Рыковых, радовались их уютному дому, мечтали о таком же своем. С доктором и учительницами ходили вдоль по Тылге, собирали цветущий багульник. Лето наступало очень быстро.

Один за другим двинулись из поселка пастухи, ведя в поводу лошадей, навьюченных продуктами,— догонять уже спешащие к морю стада. С каждым из них уходил кто-нибудь и из совхозного «начальства». На период летовки мы поделили между собой табуны, с тем чтобы во всех было по специалисту, способному организовать лечение оленей, дать дельный совет бригадиру. Мне досталась бригада Долганского. За несколько дней женщины по моей просьбе сшили для Вали летнюю обувь и брюки из оленьей замши. Мы купили продуктов — все те же коробки с печеньем, галетами, мармеладом, маслом, сахаром. Проводником согласился пойти с нами Миша Тынетыгин. И в одно прекрасное утро, навьючив продукты, запасную одежду и две палатки на кобылу, мы тронулись из поселка в дальний путь.

Пятнадцать километров от поселка тянулась довольно набитая тропа. Местами ее, правда, пересекали куюлы с заболоченными берегами (тундровые ручьи, обычно с темной, медленно текущей водой, прорезающие торфяники). Вале казалось, что в первый день мы идем напрямик, не разбирая дороги, и только через месяц она поняла, что мы шли по довольно приличной, по камчатским понятиям, тропе. Когда она кончилась, крепких участков пути почти совсем не стало. Как ни выбирал Тынетыгин путь, бедная лошадь по кличке Тундра то и дело погружалась в очередное болото и лежала там, терпеливо ожидая, пока мы развьючивали ее и помогали выйти на место посуше (попросту тянули за узду и хвост).

К вечеру первого дня нашего пути полил дождь. Он не переставал и все последующие дни, наша жизнь была мокрой и скользкой. Чуть позже я посвящу этим дням несколько «влажных» строк, но сейчас мне хочется сказать, что дорога эта памятна не только дож-

дями и ощущением постоянной дрожи, мозглятины, но и своей дикой неприветливостью и одновременно красотой. Летние дороги пастухов лежат в стороне от зимних. Я был в этих местах впервые, но не новизна была причиной моего удивления. Летняя Камчатка оказалась совсем иной, чем та, которую я привык видеть под снегом. Обширные заросли кедрового, ольхового и березового стлаников, зимой прикрытые снегом и невидимые, сейчас образовали невысокие, но очень густые леса. По склонам сопок кусты были ростом выше человека, а на перевалах, когда тропа вилась среди кустов, мы ощущали себя почти как в настоящем лесу. У подножия сопок, по равнине заросли лишь изредка, на сухих террасах, поднимались на два и три метра от земли. На остальном пространстве тундры они были куда ниже — где по пояс, а кое-где и совсем приземистые, так что мы шагали прямо по слабым, с тонкими веточками кустикам.

Облака редко открывали перед нами далекие горизонты. Чаще мы шли окутанные туманом, кланяясь встречному шквалистому ветерку с дождем, видя на немногие сотни метров вокруг. Но идти было не скучно. Тундра редко бывала неизменной хотя бы несколько сот метров. Участки с твердой почвой, удобные для ходьбы, поросшие лапчаткой, брусникой и шикшей, сменялись более мягкими — с мхом и кочками. Местами, где преобладала пушица с еще сохранившимся белым прошлогодним пухом, тундра становилась такой топкой, что приходилось сворачивать, идти в обход. Извилистыми узорами долину пересекали ленты ивняка. Пробившись через невысокие — по пояс, но очень цепкие, густые и труднопроходимые кусты, мы вдруг оказывались у неширокой протоки с черной, медленно текущей водой, переправиться через которую было нелегко.

Когда тучи поднимались выше, далеко по ту сторону Тылги становились видны хребты, еще не обтаявшие от снега. Издалека они казались высокими и неприступными. Где-то там находилось море. Весна еще только подступала к нему. Она как бы шла вместе с нами. Я обратил на это внимание случайно, собирая по пути цветы для гербария. Надежды высушить их при такой сырости не было никакой, и все же я упорно надеялся сохранить хоть что-нибудь. Как и всякий

коллекционер, я старался найти побольше разных цветов и огорчался, что и в первый, и во второй, и в последующие дни меня окружали почти одни и те же. Скоро я понял, что в этом виновато отнюдь не однообразие растительности. Мы просто убегали от лета. Оно все время было где-то позади, а весна как бы шла вместе с нами. Мы словно бы шагали навстречу движению эскалатора. Где-то впереди нас шли стада оленей. В этом продлении весны и был смысл летнего кочевья их к морю или на север.

Заметить, где прошли олени, было нетрудно — красноватая широкая полоса уходила за горизонт, к морю. Олени объедали с кустов молодые зеленые листочки, и становилась видна красноватая кора ветвей. Только дней через двадцать отросшие листья вновь закрывали ее, и тогда исчезал видимый путь стада.

На ночь мы остановились неподалеку от ручейка, весело бежавшего по камням с сопки. На невысокой террасе зеленела лужайка. Сюда мы пустили кормить измученную за день Тундру и здесь же натянули две палатки: Миша — маленькую, мы с Валей — побольше. Наша палатка не имела пола — от постоянной сырости он быстро преет и разваливается. Поэтому мы придавили борта сумками, седлом, мешками. Поверх я разостлал кусок брезента. Словом, мы рассчитывали провести ночь уютно. Но не тут-то было. Через полчаса палатка была полна комаров. Несколько раз за ночь я разводил дымокур, выпроваживал из палатки писклявых гостей. Но заснуть так и не удалось.

Мне много раз приходилось слышать споры о том, кто страшнее — комар, мошка, москит или кусающиеся мухи. Встречались даже люди, отдававшие пальму первенства блохам и клопам. Конечно, все эти животные заслуживают должного внимания. Но все же комар — вне конкуренции. Он работает летом в четыре смены без перерывов. Один вид сменяет другой прямо на поле боя, так что звон не стихает ни на минуту. Попади мне сейчас в руки определитель насекомых, я нашел бы описание наших мучителей по памяти. Огромные, средние, мелкие, мельчайшие, мохнатые, слегка волосатые, голые, рыжие, серые, белые, почти черные, полосатые и пятнистые — как велико разнообразие видов этого «замечательного» животного! И какая

настойчивость в поиске добычи, какая предприимчивость!

Мошка, конечно, неприятный спутник в тайге и в тундре. Но чуть закатилось за линию горизонта солнце, как она словно тает в воздухе. Можно купаться, смеяться и даже петь. Мокрец куда более назойливый паразит. Но по-настоящему много его бывает лишь в считанное количество дней и ночей. Достоинства кусающихся мух я не отрицаю: слепни, златоглазики и мухи-жигалки и меня не раз загоняли в реку, заставляли погружаться в воду с головой, чтобы хоть на минуту почувствовать облегчение. Но только комар трудится над человеком два месяца без передышки, без пощады. А главное — звон. Неожиданный укус неприятен. Но еще хуже слышать надрывный писк мириадов комаров, которые норовят воткнуть свое жало даже не сев, не выбрав, куда укусить.

Еще две ночи нас безжалостно ели комары. Если днем как-то можно было укрыться от них под тюлевой сеткой, перетянув и кухлянку и рукава ремешками, надев замшевые перчатки, то ночью мучения становились нестерпимыми: или духота, или комары не давали покоя. Волей-неволей у нас обострилась наблюдательность. Миша Тынетыгин каждый вечер не ленился собирать множество камней. Утром на месте, где стояла его палатка, оставался круг из камушков. Точно такие же круги имелись на местах старых пастушеских стоянок. Оказалось, что, только придавив стенку палатки камнями, выложив их один за другим без единого просвета, можно было перекрыть путь комарам в палатку. Кроме того, Мишина палатка, как и у всех пастухов, не имела ни окон, ни дверей. Перед тем как юркнуть под полотнище, Миша делал короткую пробежку, изо всех сил обмахиваясь шапкой и тряся головой. Мы во всем следовали его примеру, и комарам пришлось отступить.

Хотя след стада был хорошо заметен, мы часто плутали. Чтобы получше накормить оленей, пастухи широко распускали табун по тундре, разделив на части, гнали его сразу по нескольким параллельным речкам. Иногда нам казалось, что следы оленей всюду, во все стороны тянулись по тундре красноватые полосы. Наш проводник давно не бывал в этих местах, поэтому много времени приходилось тратить на поиски бродов че-

рез речки. Казалось, пути под непрерывным дождем не будет конца. Идти мокрым, спать мокрым, чинить раскисшую упряжь, вытаскивать Тундру и вьюки из грязи — это было нашим бытом в течение семи дней. К тому же постоянно перед лицом маячила сетка тюля, нельзя было ни на минуту обнажиться. Чтобы ненадолго отдохнуть от комаров, разжигали костер и прятались в его спасительном дыму.

Проводя дни в серой, туманной от дождя и гнуса тундре, легко было понять любовь пастухов к ярким украшениям. Красные бусинки бисера на спине у Тынетыгина, которая целыми днями маячила впереди, чуть-чуть скрашивали жизнь, напоминали о солнце и о ярких, нетундровых цветах.

Валя была очень терпелива. Ни дождь, ни комары, казалось, не отбивали у нее охоты поднимать по дороге камни. Профессиональный интерес геолога брал свое. Но на седьмой день, когда мы вышли на реку Пылгу и на противоположном ее берегу забелели палатки пастухов, она вдруг сдала. Нам оставалось лишь пересечь многочисленные протоки Пылги. По ее главному руслу уже спускался на резиновой лодке кто-то из пастухов. Бредя по пояс в воде, когда оставалось только терпеть холод и пробиваться вперед, я вдруг услышал:

— Другие мужья везут жен на курорт. А ты... Ты нарочно хочешь, чтобы я простудилась.

Более несвоевременного выяснения отношений трудно было и придумать. Я молчал. Наконец открылось главное русло. Приплыл Тайнав. Мы усадили в лодку Валю. Следующим рейсом переправили груз. С того берега громким ржаньем звал нашу Тундру черный жеребец, приписанный к бригаде Долганского, и она тотчас, без понукания пошла в воду, поплыла на ту сторону. Еще совсем немного, минут пятнадцать, оставалось нам потерпеть. Наконец мы подошли к палаткам. Надя — дочь Долганского, сменившая Чилькина и работавшая теперь пастухом-учетчиком,— увела Валю в свою палатку и там переодела во все свое, сухое. Мужчины поделились одеждой со мной и Мишей. В большой палатке у столика с горячим мясом жизнь снова казалась прекрасной.

Можно только удивляться тому, как уютно в пастушеских бригадах. Здесь стоит большая палатка, сухо,

заранее заготовлены дрова, сварена еда, есть навес, где сушится одежда. Казалось бы, совсем немного удобств, и все же они резко отличают жизнь «в тундре» и «дома».

Словно специально к нашему приходу выглянуло солнце, погода стала налаживаться, все вокруг преобразилось: река стала голубой, тундра украсилась цветами, ветерок отогнал комаров. С утра я ушел с табуном, а Иван Петрович взял девушек с собой на рыбалку. Вечером он не без самодовольства слушал Валины восторги. Долганский колол красную рыбу мариком (острый крюк, привязанный за конец к шесту). Острие марика направлено вперед, а другой конец заткнут за кольцо на шесте. Вонзившись в рыбу, марик одновременно выскакивает из-под кольца, и рыбка повисает на ремешке. Изобретение это хитроумное и очень удобное. Пастух носит с собой лишь легкий крючок. Шест вырубает на месте. Там же на берегу Долганский подсаливал для своих спутниц красную икру, дал Вале попробовать хрящ с головы чавычи. В общем это были настоящие камчатские радости.

Табун пасли в две смены: дневную и вечернюю. Большей частью я ходил с дневными дежурными — Мулювье и Аписом. Летний выпас был мне пока мало знаком. Надо было начинать с азов. Мулювье слыл у нас очень опытным пастухом-нагульщиком. Умение кормить оленей летом считается наиболее сложным в пастушеской профессии. Олени прибавляют в весе, накапливают запас белков и витаминов всего за три месяца — июль, август и сентябрь. И пастух должен максимально способствовать этому. Я уже говорил о приеме «зеленого конвейера» — кочевке в более прохладные районы, с тем чтобы продлить питание молодой зеленью. Кроме того, пастух старается как можно более рационально использовать время. Олени должны или есть, или отдыхать. Все сборы стада, перестроения вредны, нужно тратить на них как можно меньше времени. Между тем без них трудно обойтись. В стаде летом две с половиной — три тысячи оленей, прибавились телята. Такую махину нелегко стронуть с места, повернуть, остановить.

Мулювье управлял стадом виртуозно. Я уже знал, что управлению поддаются далеко не все олени, что пастух ориентируется в основном на старых важенок.

Но среди густых кустарников, в чересполосице ручьев, болот и холмов не так-то легко было определить, где передняя, где задняя часть табуна, в какой точке должен оказаться человек, чтобы поворот прошел плавно, без сумятицы. Необходимо было знать эти места, использовать лучшие участки пастбищ, обходить опасные — там, где олени могли повредить себе копыта.

Однажды утром я предложил Вале отправиться со мной в горы. Подниматься предстояло по крутому склону, сильно заросшему кедровым стлаником. Но иного пути не было — река текла в узком каньоне. Сначала мы карабкались довольно резво, потом стали все чаще отдыхать. Иногда не было другого выхода, как лезть по стволам стланика, словно по лестнице,— настолько густы были заросли. Оказавшись на небольшой прогалине, мы каждый раз смотрели вниз, искали наши палатки на берегу реки. К сожалению, удалялись от них мы слишком медленно. На полянах среди стланика, видимо, никогда не паслись олени, и ягель здесь был удивительно пушист и высок — ноги тонули в нем.

На одной из прогалин я вдруг заметил бурундука. Полосатый зверек совсем не боялся нас и, казалось, хотел получше рассмотреть: сновал по кривым стволам «кедрача», окружавшим маленькую полянку со всех сторон. Бурундука можно встретить лишь на самом севере Камчатки. Зверек проникает сюда из Сибири и, кто знает, может быть, сумеет расселиться дальше на юг, по всему полуострову. Встреча с бурундуком вдруг напомнила мне об интересе зоогеографов к Камчатскому перешейку, большая часть территории которого принадлежит нашему совхозу. Звери, населяющие его, мало изучены. Между тем некоторые из них — бурундук, рысь, лось, белка — еще только начинают свое «наступление» на Камчатку. Я встречал их на перешейке и убеждался, что белка и бурундук уже вполне прижились в зарослях кедрового стланика, рыси, питаясь многочисленными в наших местах зайцами, начали приживаться в лентах тополевых лесов вдоль рек. А лось, песец, белый медведь остаются пока редкими гостями.

Крутой подъем был нескончаем. И вдруг мы достигли открытого плато, на котором местами еще белели снежные поля. Оказалось, что вокруг лагеря

были не горы, а довольно плоская равнина, пересеченная глубокими каньонами. По одному из них пастухи и направляли стадо к морю. Внизу, у реки, откуда мы начали путь, было тепло, много цветов, а на плато — холодно, много нерастаявших пятен снега.

На ровном месте мы старались идти быстрее. Валя не всегда поспевала за мной, а пересекая одну из глубоких ложбин, и вовсе отстала. Впереди был скалистый хребет. Вдруг испуганный крик заставил меня остановиться. Вали не было видно, и я побежал ей навстречу. Стук камней, гулко раздававшийся откуда-то из ущелья, еще сильнее обеспокоил меня. Наконец Валя появилась из-за перегиба склона, и тотчас я увидел догонявших ее двух светлых зверей. Не сразу я понял, что за Валей по пятам с громким мэканьем следовали два барашка. Наверное, они приняли карабкавшегося вверх человека за мать. То ли от того, что нас стало двое, то ли моя фигура показалась им опасной, но бараны остановились метрах в пятидесяти, громко кричали и ближе не шли. Оглядываясь, мы еще долго видели две сиротливые фигурки. Где-то здесь их кормила в последний раз мать, и они терпеливо ждали ее.

Других снежных баранов в тот день нам увидеть не удалось. Побродив еще часа два по плато, мы вернулись в лагерь. В сгущавшихся сумерках спуск вниз был очень труден, и, оказавшись наконец на ровном месте, мы еле добрели до палаток.

Рассказ о барашках вызвал немало шуток. Никто не думал, что нам еще предстоит с ними встретиться. На следующий день барашки забрели в табун и сильно напугали оленей. Отогнать их оказалось нелегко. Видимо, желание найти мать или хотя бы других баранов было у них так велико, что они принимали оленей и даже людей за «своих».

Около двух недель я исправно ходил с табуном. Приходилось и лечить заболевших оленей, и проводить опрыскивание стада хлорофосом от оводов. Время шло быстро. Короткий отдых ночью и снова длинный день в стаде. Валя тоже не скучала, помогала во время кочевки и в лагере. Но в середине июля пришла пора ее отъезда. Мы находились уже неподалеку от моря. Долганский вызвался помочь мне посадить Валю на какой-нибудь рыбацкий сейнер. По словам Ивана Петровича, их часто можно увидеть неподалеку от берега.

Втроем мы отправились к бухте Сомнения. День был солнечный и ветреный — самая приятная погода на Севере. Ветер отгонял комаров, заставляя держаться их у земли, в траве. И тропа была в общем-то неплоха, и открывшаяся с пригорка бухта очень красива. Но предстоящее расставание занимало наши мысли. Молчал и Долганский. За прошедшие недели старик привык к Вале, поверил в ее «походные» навыки и предлагал еще пожить в бригаде.

Примерно в километре от берега на якоре стояли два небольших сейнера. Я не знал, как Долганский собирается вызвать рыбаков. Вряд ли они могли услышать наши крики. Иван Петрович разжег костер и принялся готовить в котелке чай.

— Сейчас сами приедут,— пояснил он.— Привыкли летом покупать у нас мясо.

Действительно, вскоре на палубе сейнеров началось оживление. С одного из них спустили шлюпку, застучал мотор. Подойти к берегу вплотную рыбакам не удалось — было слишком мелко. Пятеро бородатых мужчин — все в высоких сапогах, ярко-желтых клеенчатых костюмах — спрыгнули в воду и пошли к нам, а моторист на шлюпке вернулся к сейнерам.

Любопытную картину представляла наша компания у костра: мы с Долганским в пастушеской одежде, канареечно-желтые рыбаки, Валя в зеленой штормовке. Ребята охотно согласились доставить Валю в Усть-Пахачи, откуда можно было улететь. Они как раз отправлялись туда — сдавать улов и заправляться горючим. Договорились также о дне встречи, чтобы дать им свежего мяса.

Подняв на копье рубашку, вызвали шлюпку. Я перенес Валю через мелководье. Затарахтел мотор. И вскоре уже трудно было различить сидевших в лодке людей.



ВРЕМЯ ОЛЕНЬИХ СВАДЕБ

Конец августа. По ночам уже холодно, случаются заморозки. На рассвете трава седая от инея. На озерах у берегов — тонкий прозрачный ледок. А днем тепло. И утром с надеждой глядишь на солнце, мысленно подгоняешь его, чтобы скорее оторвалось от горизонта, согрело нахолодавшую за ночь землю. Нет комара, лишь в некоторых долинках вдруг роем накидывается мошка — небольшие, подвижные мушки с белыми ножками впиваются в кожу, грызут, на глазах надуваясь кровью. Но стоит подняться на пригорок, где немного обдувает ветер,— мошка пропадает. Осенняя тундра пестра: в низинах и у родников еще густо-зеленая трава, а по террасам все закраснелось — листья кустарничков, ягоды брусники. По увалам зеленые массивы кедрового стланика рассечены серовато-красными лентами ольховника — на деревьях начинает увядать лист.

Не знаю, в чем причина — в богатстве красок, или в мелких радостях — там попалась плантация морошки, здесь пощипал бруснички, или в отсутствии комара, но осень запомнилась мне как самое лучшее время года на Камчатке. И работа пастухов в это время отличается от всех других сезонов, она скорее напоминает охоту. Впрочем, не всем это нравится, пастухи обычно хвалят зиму. И для оленей осень несет свои радости. В середине августа в тундре появляются грибы: и на террасах, и по склонам сопок среди ольховых кустов стоят себе подосиновики, подберезовики, мухоморы, словно это не Камчатка, а Подмосковье. Олени за грибы, как говорил Петя Лялянский, душу отдадут.

Я работал в это время в бригаде Кинина. Всех пастухов я уже хорошо знал. Николай Кинин, несмотря на свои неполные тридцать лет, замечательно понимал людей, умел ладить и сплотить их. Однако к его отцу,

Тналхуту, пастухи относились не так сердечно. Старик был подлинным профессором в оленеводстве, и в том, что касалось оленей, все ребята доверяли ему полностью. Да и я старался на весну, лето и осень под тем или иным предлогом отправить его к Кинину — твердо верил в талант и опыт старого пастуха. Но Тналхут любил поддеть молодых ребят — Тынетегина и Илькани. Понимал, что в них основная сила бригады, и все же не мог себя пересилить, чтобы не «кхекнуть», когда Тынетегин не мог с первого раза набросить на оленя аркан, или не заахать притворно, рассматривая грубо сделанный элоэль Илькани.

— Кинин хороший. Мы с ним дружим,— доверительно говорил мне Федя Илькани,— вот только старик здесь напрасно крутится. Ехал бы домой, пенсия есть, что ему нужно? Мы сами справимся.

Я сочувственно поддакивал, а потом говорил Тналхуту:

— Энпеклав (старик). Пока ты в бригаде, я спокоен. И Кинин молодец. Понимает, что опыт работы — большое дело.

Тналхут оглаживал свою крохотную бородку, соглашался. Он гордился сыном и своим опытом. Замечу, что русское слово «опыт» без конца склонялось на всех совещаниях и очень прочно вошло в жизнь и труд пастухов всех возрастов. На собраниях ораторы так и начинали:

— Сейчас я буду передавать свой опыт.

В конце августа ночи стали так темны, что дежурства потеряли смысл. Вечером, в сумерках, удается следить за стадом, не давать оленям слишком широко расходиться. Но с одиннадцати до четырех утра можно было дремать, набросав на землю охапку кедровых лап, и ждать рассвета. В это время особенно нужным стал опыт Тналхута. Задолго до темноты следовало выбрать долинку, обрамленную крутыми горами, в которой олени паслись бы всю ночь, не расходясь, у входа в долину поставить палатки, которые отчасти ограничивали свободу оленям. Подобных долин не так уж много, и, перегоняя из года в год оленей в этих местах, старые пастухи знают их наперечет, помнят, в какую сторону обычно уходят олени.

На рассвете, еще сквозь сон, я слышал, как Кечигвантин разжигала костер, грела чай. Постепенно ла-

герь оживал, стыдно было залеживаться дольше других. Приходилось вылезать из-под одеяла. Молчаливо кутаясь в ылымгыны (меховая безрукавка с капюшоном), мы оттаивали у огня плекты (обувь из продымленной оленьей замши), с вечера мокрые и схваченные утренним морозцем. Тут же у палаток надергивали травы, уже сухой, жухлой, и набивали ее в плекты. Чаепитие быстро заканчивалось, и все расходились на поиски оленей. Коля Кинин определял, кому куда идти, показывал, где соберется большое стадо.

От палатки я обычно стремился забраться куда-нибудь повыше, чтобы осмотреться. Я хотел увидеть не только куда пошли олени, но и просто сориентироваться, чтобы не заблудиться среди незнакомых мне гор. Еще прошлой зимой, когда только начиналась моя карьера оленевода, я узнал, что олени предпочитают двигаться на ветер, в гору и возвращаться по своему следу к месту прошлой ночевки и т. д. Теперь мне хотелось проверить это в условиях, когда пастухи распускали оленей и они больше, чем в другие сезоны, могли проявить свои склонности. С вершины сопки хорошо были видны и группки оленей, пасшиеся по долинам и склонам, и фигуры пастухов, быстро продвигавшиеся вперед. Набросав план местности, я отметил местоположение оленей. Постепенно рисунок заполнялся — основная масса оленей действительно ушла на ветер, но задняя часть стада предпочла вернуться назад, к тем горам, где мы пасли табун накануне. Довольно большой косяк, отколовшийся от стада, пасся в соседней с нашей долине. Впрочем, Тналхут еще с вечера говорил, что там всегда много грибов. В общем, все получалось «по науке пастухов», и это радовало. Оказывается, можно довольно точно предсказать направление движения оленей. Если бы не случайности вроде «грибного огорода» по соседству или какой-нибудь шальной росомахи, способной напугать табун, можно было бы не дежурить по нескольку дней.

Быстренько закончив наблюдения, я приступил к выполнению обязанностей пастуха. Нужно было идти косогором или ближе к гребню хребта, свистеть и покрикивать, спугивая оленей. Не обязательно было их видеть. Куртины кедрового стланика и ленты ольховых лесов ограничивали обзор, но я и так знал, что напуганные олени сбиваются в группки и убегают от

меня вдоль склона на ветер. В бинокль я мог видеть, как точно так же действует на противоположной стороне долины Тынетегин, как «ручейки» оленей, спугнутых пастухом сверху, устремляются вниз по склонам туда, где уже маячило темное пятно основного табуна. Туда отправился Тналхут с Гиклавом, чтобы придержать оленей у выхода из долины.

Прочесав склон, я спустился вслед за оленями к ручью и по случайно подвернувшейся тропе направился к основному табуну. Было уже часов десять утра, солнце пригревало все сильнее, и олени, присоединившись к «своим», тотчас успокаивались, принимались за жвачку. За ночь они хорошо наелись. Дожидаясь товарищей, прикорнули на мягких моховых подушках и мы. Последним появился Кинин, пригнавший голов двести оленей, ушедших в соседнюю долину. Передохнув, он вошел в табун и начал проверять, все ли приметные олени на месте. Я присоединился к нему. Иногда мы даже дотрагивались до оленей руками, чтобы они подвинулись и пропустили нас. Еще несколько минут назад это были очень пугливые животные, подпускавшие к себе человека в тундре не ближе чем на полсотни метров. Но в глубине стада они чувствовали себя в полной безопасности. Они туповато глядели то на нас, то на соседей, словно глазам своим не верили, как здесь мог оказаться человек. Те, что попугливее, шарахались в сторону и спешили спрятаться за соседей. А некоторые успокаивались, опускали голову к земле, продолжая жевать.

Пока Кинин проверял табун, ребята разожгли костер и вскипятили чай. Кечигвантин в качестве лакомства вытащила из вьюка кожаный пузырь и налила в миску кислой крови с кусочками печени и сычуга. Мы черпали кровь ложками, стараясь выудить и кусочки печени. После ежедневного вареного мяса очень приятно было глотнуть чего-то острого и кислого. Меня, правда, немного смущал процесс приготовления этого кушанья. В чисто вымытый рубец оленя, используемый как кожаный мешок, Кечигвантин наливала крови, клала кусочки сычуга и печени (олений сычуг обладает отличными ферментативными свойствами, он заготовляется в качестве сырья для сыродельной промышленности, а здесь использовался в качестве закваски). Еще я заметил, что Кечигвантин каждый день

вывешивала пузырь с кровью на несколько часов на солнце. Тналхут, заметив мой интерес к этой кухне, сказал, что иногда от этой пищи умирают. При этом он смотрел на меня в упор своими холодноватыми серыми глазами. Пасовать было неудобно. Пришлось ответить, что с таким проводником, как он, и это не страшно. Тогда старик милостиво добавил:

— Плохая женщина делает — много раз умираешь. А Кечигвантин, наверное, умеет.

Около двух часов дня табун тронулся на выпас. Передняя часть — молодняк, важенки без телят, ездовые быки быстро ушли вперед, и Тынетегин с Илькани отправились их придержать. Я остался позади, помогал Кинину подгонять табун. Сегодня он торопился, хотел пройти засветло широкую тундру, чтобы к вечеру снова оказаться у горного массива, где было бы легче удержать табун ночью. В задней части табуна собрались в основном важенки с телятами. Матери, не успевшие за лето накопить жир, усиленно кормились. Подгоняя их, приходилось подходить чуть ли не к каждой оленухе, прикрикивать, махать руками. Телята же теперь стали самостоятельными. Вспоминали о матери, когда приходило время сосать, а в остальное время держались отдельными компаниями, паслись или играли, то атакуя друг друга, то бегая наперегонки, а иногда и друг за другом, как дети, играющие в салочки. У них отросли изрядные рожки, у некоторых даже раздвоенные. И шерсть удлинилась. Оленята потемнели и округлились. Нет теплее меха, чем шкурка осеннего олененка.

Тналхут, Гиклав и Кечигвантин, ведя в поводу навьюченных лошадей, обогнали табун и ушли ставить лагерь на заранее намеченное место. Оно оказалось довольно далеко. Уже смеркалось, а я все еще не видел впереди костра. Как назло, на пути попалась довольно широкая речка. Кинин, как обычно делали пастухи, полез в воду не раздеваясь. Пришлось последовать его примеру, только карабин и ылымгын я поднял над головой. Как легко бывает утром ходить по кочковатой тундре, а сейчас спотыкался, карабин то и дело стучал по спине, я клял и кочки, и оленей, и даже Тналхута, не догадавшегося остановиться поближе.

Мы с Кинином шли молча, благо олени насытились и стали пугливее. Теперь их легче было подгонять.

Снова пришлось пересекать речку. Ее окружали довольно густые заросли ивняка, но вдоль берега тянулись торные медвежьи тропы. Не знаю, что подсказало Кинину о близости медведя, но он вдруг потянул меня вниз по речке. Бросив табун, мы прошли вдоль берега метров двести и увидели медведя. Он сидел у самой воды, сгорбившись (как говорят пастухи — пригорюнившись) и не шевелясь.

— Рыбачит,— прошептал Николай.

Действительно, медведь вдруг гребнул по воде лапой и выкинул на берег рыбину, тускло блеснувшую в воздухе. Несколько минут она билась в кустах, но зверь не обращал на нее внимания, снова затаившись над водой. Рыбак он был отличный. Через несколько минут точно так же «голыми руками» он выудил другую рыбку.

Еще несколько дней мы идем вперед. Утренние заморозки становятся более затяжными. Уже и к полудню не на всех лужах тает ледок. И долины, и склоны гор на глазах приобретают красный и желтый цвета — буреют листья стланика. И наконец, самый верный признак осени — начинают хоркать, гоняться за самками молодые бычки. То и дело между ними вспыхивают драки, стучат друг о друга рога. Взрослые быки еще спокойны, смотрят на состязания молодых, словно что-то припоминают. А может быть, и у них в груди сильнее начинает биться сердце.

Первые разговоры среди пастухов о приближении поры свадеб у оленей я услышал еще в начале августа. У одного из быков вдруг лопнула кожа на конце рога, слабо закапала кровь. И это красное пятнышко, заметное среди леса рогов двухтысячного стада, было первым вестником грядущих боев. До того времени олени тщательно сберегали панты — еще неокостеневшие рога, покрытые мягкой кожей и темной или серой шерсткой. Рога на ощупь были теплыми и нежными. Олени не любят, когда их трогают за рога, недовольно трясут головой. К началу августа кожа на уже окостеневших рогах стала мертветь, видно, начал слабеть ток крови в сосудах рога. Через пару дней кожа на рогах уже потрескалась у многих и беспокоила животных, они терлись рогами о землю, бодали кусты, разлохмачивая уже ненужный кожаный панцирь и оголяя глянцевито-коричневый рог.

Судя по тому, как дружно началась чистка рогов, этот процесс не слишком сильно зависел от упитанности животных. Скорее сигналом организму служило уменьшение светового дня. Однако самки заметно позже начали чистку рогов, как, впрочем, и растить их. Они еще только стали поправляться, немало сил у них отнимало кормление оленят. Важенки позже взрослых быков начали проявлять признаки полового возбуждения — большую подвижность, интерес к самцам, стремление тереться телом о кусты.

У оленей сроки размножения регулируются довольно своеобразно. Хотя в яичниках самок примерно каждые два месяца развиваются половые клетки, этот процесс остается незавершенным, и поэтому оплодотворение невозможно. Нужно, чтобы за оленухами ухаживали быки, происходили бои, слышался треск рогов. И под влиянием такого психического воздействия в организме важенок происходят гормональные изменения, после которых они оказываются готовыми к размножению.

Трудно сказать, вполне ли достоверна эта теория, но пока что ее придерживается большинство ученых. И она хорошо объясняет смысл сложного поведения самцов-оленей в период гона. Я внимательно следил за ними, подмечая, как с нарастанием возбуждения у быков набухает шея, широко открываются ямки предглазничных желез — словно две красные раны, зияют они под глазами, появляется скованность в движении задних ног, олени роют копытами землю, мочатся здесь же, ложатся в эту пахучую жижу. Все чаще можно было слышать глухое хорканье быков, стук сталкивающихся рогов.

У северных оленей рога имеют так много отростков, что серьезно поранить друг друга они вряд ли могут, разве что помять, особенно если соперник упал. Схватки представляют собой как бы рыцарские турниры, после которых слабейший не только уступает поле битвы победителю, но и в последующие дни не решается в его присутствии ухаживать за самками. Рога у разных быков сильно отличаются весом и размерами. Те животные, которые имеют более тяжелые или неветвистые рога, могли бы скорее рассчитывать на победу. Но это никак не устраивало нас. Потомство должны были оставить самые здоровые и сильные быки, и поэтому необходимо было сделать оружие соперников одинаковым. Мы занялись своеобразной стрижкой рогов, причем всех под одну гребенку.

Кинин выбрал местечко на террасе, где не было ни острых камней, ни кустов. Мы собрали здесь стадо. Потом Федя Илькани потихоньку входил в него, стараясь отделить небольшую группу оленей. Как только они начинали обегать Федю и оказывались в узком коридоре между пастухами, в воздух взлетали арканы, и с одной-двух попыток очередной бык оказывался в нашей власти. Приходилось попотеть, прежде чем мы валили оленя на землю. Потом усаживались на него вдвоем верхом, а Кинин, часто советуясь с товарищами, начинал отпиливать рога. На каждом роге оставляли по основной штанге и по ледовому отростку (второй по счету отросток). Кроме того, на одном из рогов оставляли лопатку глазного отростка (первый, расположенный прямо над мордой). Кинин старательно снимал все мелкие отростки, в общем придавал рогам предельно простую форму, но в то же время они были пригодны для боя.

— Лопатка глазного отростка защитит ему морду,— объяснял Тынетегин,— а этой вилкой он перехватит удар.

Пастухи следили также за тем, чтобы рога у всех быков были одинаковой длины. Наконец острым ножом на боку оленя писали (вырезали на шерсти) номер. Всего у нас оказалось около полусотни быков на девятьсот важенок. На всякий случай трем рога спилили полностью. Беднягам предстояла грустная роль скромников — тихо, мирно пастись в стороне, потому что без рогов у них не было шансов найти себе пару. Зато они сохранили до конца гона и жирок под кожей, и запас бодрости. И когда все их собратья выбыли из игры, подругами этих быков стали важенки, почему-либо поздно принявшие участие в размножении. Метод этот, предложенный опытным зоотехником П. Е. Мироновым, широко применялся у нас в совхозе.

За каждым пастухом мы закрепили определенное число быков, за поведением которых он должен был наблюдать. Как только гон разгорелся в полную силу, обсуждения, чей бык лучше, стали обычными. Отношения между самцами в стаде оказались довольно своеобразными. Существовала иерархия — один бык

главный, остальные уступают ему дорогу, к самкам в его присутствии не пристают и вообще ведут себя тихо. Бык, завоевавший первенство, живет полнокровной жизнью. Он не ест и не пьет, хоркает, ухаживает за самками и становится отцом. Однако несколько бурных дней изматывают его до неузнаваемости. Все больше самок начинают проявлять активность, а ослабевший повелитель уже начинает временами подкармливаться, отдыхать. Такая перемена в поведении главного быка тотчас подмечается соперниками, некоторое время пребывавшими в тени. Самый сильный из них затевает сражение с недавним повелителем.

На редкость красивое зрелище — турнир двух быков. Сколько ни смотришь — не надоедает. Особенно волнуют мгновения, когда соперники изо всех сил напирают друг на друга, но уже наметилось равновесие. Кто-то должен первый отступить. Обычно за минуту до поражения бык начинает крутить головой,— видно, прямой напор ему уже не под силу, но боевой задор еще не иссяк. Вдруг он резко отскакивает назад, поворачивается и уходит. Победитель стоит, подняв голову, так что хорошо видны белые длинные волосы на шее, окраска морды. Предполагают, что олени помнят окраску морды друг друга и в последующие дни не рискуют затевать ссоры с более сильным соперником.

Во время гона, когда уже завяла зеленая трава, исчезли грибы и оленям не из-за чего торопиться вперед, стадо прекращает движение, распадается на множество мелких групп, пасущихся почти на одном месте. Все олени с большим удовольствием поедают ягель, собирают по берегам озер еще зеленую осоку и водоросли.

Из-за того, что стадо широко расходится, один олень-повелитель не успевает следить за всеми важенками. В разных концах табуна властвуют разные быки, и получается несколько систем иерархии, в каждой из которых есть свой главный бык и свои возможные заместители.

Понятно, что каждый из нас «болел» за подопечных быков, гордился ими в случае победы и ревниво следил за их более удачливыми соперниками. Один светлый крупный олень, по мнению Феди Илькани, подавал большие надежды. Еще когда мы отпиливали рога, Федя попросил закрепить этого быка за ним. Увы, его бык вообще долго не проявлял живости, а когда наконец пришло время, оказался отчаянным трусом. Постепенно его так «затюкали», что он даже начал пастись в компании ездовых кастрированных быков, отдельно от большого табуна. В конце гона Федя, немало выслушав насмешек над своим подопечным, поймал его и отрезал кончик уха — пометил, чтобы осенью выбраковать этого лентяя. Таких оленей набралось к концу гона голов десять — кто был не активен, а кто покалечился в лихих схватках.

С конца сентября, как только прекратилось движение стада, отпала необходимость и в дневном дежурстве. Олени и так далеко не уходили. Теперь только ночью в стадо отправлялся один из пастухов, а остальные были свободны. Понятно, что тотчас появились желающие навестить оставленные в поселке семьи. Обрадовавшись попутчикам, начал собираться и я. Навьючив Тундру, мы отправились вместе с Гиклавом и Тынетегиным в путь и через день вышли на торную тропу, что вела берегом Тылги в Хаилино.

ЗИМА — ПРАЗДНИК



Если спросить у оленевода, какое время года лучше, он почти наверняка ответит — зима. Почему-то такой ответ многих удивляет. Для несеверянина зима — это морозы, пурга, тоскливое ожидание весны. Между тем в хорошей одежде и при известной привычке не страшны ни холод, ни ветер. Зимой у пастуха много свободного времени: отдежурил ночью и двое-трое суток отдыхай. Олени часами не уходят с того места, где уже разбит снежный наст, где легче добраться до корма. Теперь можно оставить стадо днем без присмотра и ограничиться ночными дежурствами. Три, а то и два пастуха вполне справляются с этой работой. Остальные часто навещают свои семьи в поселке или уходят в отпуск.

Сравнительно немногие из наших пастухов проводили отпуск в Петропавловске, Хабаровске. Так поступали Тнаковав, Татко, Гугульнин — люди молодые, хорошо говорившие по-русски, желавшие увидеть большие города, развлечься, купить что-то редкое и ценное. Иван Петрович Долганский почти ежегодно ездил на курорт Паратунка близ Петропавловска, где горячие грязевые ванны помогали ему избавиться от ревматизма. Большинство же вместе с женами отправлялись на оленьих упряжках в Таловку, Каменское, Ачайваям — центры соседних с нашим оленеводческих совхозов.

Дорога туда была не близкой — 200, а то и больше километров. Но людей привлекала возможность навестить родственников и знакомых, узнать новости. Ездили отпускники не торопясь, останавливаясь на два-три дня в каждой повстречавшейся на пути пастушеской бригаде. Везли с собой в подарок шкуры нерпы, росомахи и выдры, арканы, ножи, резные костяные детали оленьей упряжи, бусы, бисер. Конечно, и хозяева

не оставались в долгу: немало красивых и необычных в наших краях вещей привозили пастухи из своего путешествия. Приезжали, обменяв чуть ли не все, что брали с собой: нарту, одежду, украшения, ножи, копья, часы. И конечно, никто не возвращался на своих оленях, да они бы и не выдержали такого длинного пути. В упряжках отпускников можно было видеть темных, очень крупных оленей из Таловки, высоконогих, беловатой окраски (похожей на цвет диких оленей) из Ачайваяма.

С началом зимы и у нас появлялось немало новых людей, приехавших из разных мест, а некоторые и из очень отдаленных — Быстринского района Камчатки, Хатырки, что на Южной Чукотке. Конечно, из такой дали (за 800 километров) летели самолетом. Гости бродили по Хаилино, я встречал их в наших оленеводческих бригадах, на тундровых дорогах. Некоторые приезжали уже не в первый раз. И случалось, что они приходили ко мне в контору, сопровождаемые друзьями или родственниками, у которых гостили, и просили принять их на работу. Что привлекало их в наш Корфский совхоз? Дружный и сильный коллектив, налаженное оленеводческое хозяйство, хорошие условия труда в бригадах? Сказывалось, что Корфский совхоз был организован первым на Северной Камчатке в 1931 году, что много хороших людей отдали для налаживания в нем работы свои лучшие годы.

Для зоотехника зима — это пора бесконечной езды на оленях из бригады в бригаду. Кругом белые долины, белые точеные зубцы гор. Заросли стланика заметены снегом. Редко-редко зачернеет вдоль русла реки лента тополевого леса. Сквозь морозное марево просвечивает солнце. Только треск оленьих копыт нарушает тишину.

День так короток, что кажется, состоит лишь из сумерек. Зато ночь, даже если нет луны, светла от снега. Длину пути меришь днями езды, время — числом кормежек оленей. Каждые три-четыре часа приходится останавливаться, распрягать оленей и отпускать их кормиться. Через час-полтора снова вперед. Шуршит под полозьями сухой снег, покрываются инеем морды оленей. Они бегут рысью, словно заведенные, и лишь по тому, как постепенно проступает «голодная» ямка

у них на боках, вспоминаешь, что пришло время снова остановиться.

Вообще-то всегда представляешь себе, сколько будешь в дороге, сколько предстоит вытерпеть холода, ощутить комьев снега на лице из-под оленьих копыт, как будешь ехать по однообразным долинам и преодолевать тяжелые подъемы на перевалы. Но почему-то всегда дорога надоедает раньше, чем рассчитываешь, не хватает запаса терпения. Со временем постигаешь и эту мудрость. После трех-четырех часов пути уже не получаешь удовольствия от дороги, едешь равнодушным, зная, что еще далеко. Тоскливо ждешь: «Когда же это кончится?» Постепенно теряешь терпение, но и тогда понимаешь, что до конца пути далеко. Что надо еще чуть-чуть потерпеть, и наступит долгожданный момент — олени вдруг поднимут головы и потянут в себя воздух, донесший откуда-то с гор запах табуна. А потом замелькают со всех сторон следы. Расступаясь, кинутся прочь испуганные олени. Наконец ты у меховых палаток.

Все мужчины высыпают навстречу гостям. Уже не нужно заботиться об оленях — их принимают дружеские руки. Не нужно думать о дровах, о том, что будешь есть, где спать. Кругом знакомые лица. Из трубы, словно флаг приветствия, валит черный дым — это женщины уже готовят гостям угощение. Взахлеб заливаются собаки. Все радуются тебе, и всем радуешься ты — наверное, так бывает только в тундре. Говорят и по-чукотски, и по-русски, и по-корякски, но приветствие у всех одно: «Здравствуй, приехал». Гостя усаживают на лучшее место, кормят и согревают. И все жадно ждут от него новостей. Их не так уж много в таком маленьком поселке, как Хаилино, которое отсюда, из пастушеской бригады выглядит шумной столицей.

Многое делали, чтобы пастухи не чувствовали себя оторванными от людей,— совхоз бесплатно выдавал радиоприемники, в бригады то и дело наведывались журналисты, ребята из «Красной яранги», начальство. Мы не препятствовали тому, чтобы зимой в табунах находились жены пастухов, совхоз обеспечивал их работой. Правда, не все районные руководители с этим соглашались: труднее становилось снабжать бригады продуктами, больше требовалось жилья. Зато в тундре возни-

кали хотя и маленькие, но дельные коллективы людей.

Подробнее нужно рассказать о «Красной яранге». Заведующий — Алексей Лахтой — великолепный артист, декламатор, сам сочинял песни, сказки, собирал народный фольклор. Я искренне жалел, что плохо знал язык и не понимал его рассказов и бесед, над которыми пастухи то хохотали, то грустили, словно не один человек, а целый театр приехал в бригаду. Вместе с ним работали учитель, фельдшер и киномеханик. Все молодые, достаточно старательные и грамотные ребята, неплохо делавшие свое дело и охотно помогавшие пастухам. Я часто ездил по табунам вместе с ними. Вечерком учитель Гриша Килькут настойчиво боролся за то, чтобы перевести Ивана Петровича Долганского в третий класс, старика Ваяма — во второй, а Иковава — в пятый.

Едва темнело, возле пастушеских палаток начинал трещать мотор — принимался за свою работу киномеханик. Он возил по бригадам пять-шесть фильмов. Чтобы увидеть их, со всей округи съезжались пастухи, охотники, их жены и дети. Запаса фильмов хватало на два вечера, а потом уже повторяли наиболее понравившиеся. Пожалуй, меньше всего работы было у фельдшера — пополнение запаса лекарств в бригадных аптечках да советы по поводу больного зуба или насморка. Заболевших серьезно тотчас отправляли в Хаилино.

Однажды ребята из «Красной яранги» предложили привезти в тундру нашу «самодеятельность». Правда, основную ее часть составляли девушки: учителя, медицинские сестры и воспитатели из детского сада. Но ребята так загорелись осуществить эту идею, что все возражения председателя сельсовета Паруни и других осторожных людей — «как бы не переморозить, да где они будут спать» — были отвергнуты.

Главным организатором поездки стала Люба Киявнаут — фельдшер больницы. Она быстро уговорила ехать Андрея Милюта, клубного аккордеониста. Загорелся и наш милый доктор, я думаю не без участия Гали Гориной. Эти две пары той же зимой отпраздновали свои свадьбы. Я думаю, что поездка в табуны ускорила события. Люба была дочерью старого коряк-ского коммуниста, организатора первого Хаилинского

сельсовета (в тридцатые годы его называли «кочевой совет»). Она унаследовала от отца сильный характер и талант увлекать людей. Внешне Люба выглядела очень примечательно — среднего роста, ширококостная и сильная, с крупными, можно сказать, грубыми, словно вытесанными из темного дерева чертами лица. Мне нравилось ее лицо — низкий прямой лоб, широкие брови, выпуклые скулы, плоский нос и чуть выпяченные темные губы. Такими я представлял себе индианок. Любу легко было бы вообразить сидящей у костра или натягивающей лук. Андрей был ей вполне под стать. Он на диво хорошо играл на аккордеоне, видно, недаром учился в музыкальном училище в Хабаровске. Даже на европейский лад он казался необыкновенно красив. У него было продолговатое, с очень правильными чертами лицо, а главное — большие темные глаза с коричневатыми белками. Иногда казалось, что он плачет, и надо было немного привыкнуть к его необыкновенному лицу, чтобы, слушая, отвечать впопад.

Я попросил Глущенко выделить побольше каюров. Часть пассажиров должны были взять с собой пастухи, возвращавшиеся в бригады. Галя Горина умоляла дать ей самого отчаянного каюра, потому что она любила быструю езду. Как раз в поселке находился Иван Илькани — бригадир нагульного табуна. Он любил чем-нибудь щегольнуть и на этот раз приехал в Хаилино на беговых оленях. Я решил, что прокатит он действительно с шиком.

Мы предполагали побывать в табунах Ветвейского отделения, у пастухов Эляле, Ивана Илькани и Миши Вилюлю. Эляле стоял не так уж далеко, но ехать надо было целый день. Где-то посреди дороги устроили чаевку. Каюры быстренько наладили костры. Русские девушки бестолково пытались им помочь. Мужчины так привыкают к тундровому быту, что ни одна женщина не выдержит соревнования с ними. Из кожаных мешочков в кипящую воду высыпалось заранее порубленное на мелкие кусочки замороженное мясо, растапливали в чайниках снег, регулируя пламя костров так, словно это была газовая горелка. Кто-то из каюров захватил с собой трогетары (котлеты из молотого мяса и жира). Гале и остальным девушкам они очень понравились. Подшучивая над ними, я спросил доктора, открыть ли им секрет приготовления котлет. Доктор

высунул нос из-под капюшона кухлянки и, как обычно, промолчал.

— Девочки, знаете, почему эти котлеты так быстро варятся и так вкусны? Потому, что женщины их готовили из пережеванного мяса. Сами они и жевали.

— Обманывает, — засмеялся сидевший рядом Эхевьи, прежде чем мое сообщение произвело впечатление.— Так раньше готовили, теперь у каждого мясорубка есть.

Эляле принимал агитбригаду первым и, надо сказать, сумел все хорошо устроить. Он не поленился поставить ярангу, до этого лежавшую у него без дела — бригаде хватало меховых палаток. В яранге больше свободного места, и артистам было где разгуляться. Как мне рассказали, в былые времена на стоянке богатого кочевья яранги ставили полукругом, причем крайняя из них была очень большой, чуть ли не полсотни метров в диаметре, и сшита из белых оленьих шкур. В ней собирались мужчины на совет, во время праздников. Убирали ее женщины всего кочевья общими усилиями. Впрочем, принадлежала она кулаку, старшему в кочевьи. Кроме этой большой он имел еще одну, где жил постоянно.

Обычная чукотская яранга — замечательное сооружение. Она прекрасно защищает от ветра, снега, дождя. Одно плохо — в ней невыносимо дымно зимой. В яранге стоят полога из хорошо выделанных оленьих шкур. По сути дела это спальные мешки, наглухо закрытые со всех сторон, довольно большого размера — два метра в ширину, три в длину и полтора в высоту. И доктор, и учителя, конечно, пожелали жить в яранге. Но едва войдя в нее, они начали кашлять. Несмотря на костер посредине, в яранге было очень холодно. Я попросил Эляле поскорее поставить полога, скатанные в рулон и лежавшие в углу. Оказавшись в пологе, Галя спросила, как же можно здесь жить — ведь нет печки. Мы пообещали ей, что от нашего дыхания и от пламени единственной свечки через полчаса в пологе будет невыносимо жарко. Это предсказание быстро подтвердилось, пришлось приподнять край полога и дать доступ свежему воздуху.

Концерт ребята подготовили замечательный. Гвоздем программы оказались песни, сочиненные и исполненные Лахтоем на родном языке. Они рассказывали

о тех местах, что нас окружали, которые мы знали и любили. «Говорят, что наши горы без леса, но в них всегда много дров,— словно спорил с кем-то автор песни.— Говорят, что здесь все покрывает снег, но наши олени всегда находят себе корм. Быть может, скажут, что холодно в нашем краю, но в теплой одежде и среди друзей мороз не страшен».

Особый восторг вызвали корякские женские национальные танцы. Русские девочки стеснялись так откровенно и весело крутить бедрами, как их подружки, и от этого танцы в их исполнении казались еще более завлекательными. Больше всего мне запомнился «танец чаек». Взмахивая руками, смешно подпрыгивая на месте, изгибая тело и непрестанно повторяя «як-як, як-як» (по-корякски «чайка»), девушки изображали то испуганных, то кормящихся чаек. Постепенно они образовали круг, внутри которого одна «птица» начала «ухаживать» за другой. Танец вдруг приобрел какой-то грустный оттенок: под глухой рокот бубна одна из исполнительниц с победным клекотом преследовала Галю Горину, едва не «клевала» ее в лицо, а та увертывалась, закрываясь «крыльями», жалобно повторяла свое «як-як, як-як».

Ночью никому не спалось. И в меховых палатках, и в пологах разговаривали, смеялись. Люба Киявнаут первая выбралась наружу, крикнула: «Эй, все равно никто не спит, давайте играть в мяч». Эта национальная игра напоминает русскую игру в «собачек», с той разницей, что команды делятся на мужскую и женскую. Бегать по рыхлому снегу, стараясь поймать на лету мяч, который кидали друг другу игроки другой команды, было нелегко. В ход пошли запрещенные приемы. Девочки накидывались всей гурьбой на парня, стараясь не дать ему бросить мяч, начиналась свалка. Все веселились как могли. На бригадной стоянке был такой шум, что из табуна приехал дежурный пастух посмотреть, что случилось.

Я с радостью убеждался, что русские парни и девушки, впервые оказавшись в тундре, по-доброму воспринимают мир пастухов, с уважением относятся к его высокой, хотя и своеобразной культуре. Что скрывать, пастух, вернувшийся в поселок из тундры, зачастую выглядит немного диковато. Он кажется неловким, смущенным, странно одетым. Мне очень хотелось, чтобы русские жители из Хаилино, оказавшись среди оленеводов, почувствовали то же, что и я: убедились, как естественны здесь обычаи и целесообразна одежда, увидели, как легко и быстро двигаются на морозе пастухи. Учительницы то и дело ахали, переспрашивали друг друга: неужели это те самые люди, которых они встречали иногда в Хаилино? Здесь роли переменились, и пастухи с добродушными улыбками заботились о своих беспомощных гостях: ни правильно одеться, ни ездить на оленях, ни есть с помощью ножа мясо, ни ходить по глубокому снегу, ни спать в холодных палатках они не умели.

В течение пяти дней переезжали из бригады в бригаду самодеятельные артисты, давали концерты, чем могли помогали пастухам. Все освоились с обстановкой, быстро устраивали в палатках подобие сцены, выступали без срывов. Они старались разнообразить программу, каждый вечер сочиняли песенки на злободневные для данной бригады темы, благо ребята из «Красной яранги» знали, кто из пастухов не прочь поспать на дежурстве или слишком увлекается рыбалкой.

В свободное время мы бродили в окрестностях палаток. Особенно запомнились прогулки впятером по реке Ветвей. Андрей и Люба, доктор и Галя Горина и я. В путанице проток и заросших лесом островов с каждого поворота открывался новый, по-своему привлекательный вид. Встречалось множество следов зверей. Андрей, несколько лет помогавший охотникам на промысле, рассказывал, кто здесь пробежал, что делал. На одной из проток, где снег был влажен от выступившей из-подо льда воды, нас заинтересовали следы выдр. Сделав два-три прыжка — широкие лапы четко отпечатались на мокром снегу,— звери ложились на брюхо и еще несколько метров скользили по инерции. При этом они змееобразно извивались, стараясь продлить скольжение. В нескольких местах следы уходили под лед — там были пустоты, потом снова появлялись на поверхности. Особенно заинтересовал нас довольно крутой, гладко укатанный и обледенелый спуск с берега. Выдры истоптали здесь весь снег, но причины их интереса к этому месту мы понять не могли. Решили прийти сюда, когда стемнеет, и потому внимательно запоминали путь к палаткам.

Часов в десять вечера мы вернулись. Ждали с полчаса. Потом возле обледенелого спуска с берега началось какое-то оживление. Приземистые темные звери сновали вверх и вниз. Луна еще не взошла, даже на светлой от снега протоке было плохо видно.

— Они, кажется, катаются с горки, как дети,— прошептала Люба.

При лунном свете мы вдоволь нагляделись на игравших зверей. Четыре выдры, скользя на брюхе, катались с горки. Им так это нравилось, что, оказавшись внизу, они несколько минут еще барахтались на снегу. Их сероватый мех слабо отсвечивал.

Перед отъездом агитбригады домой устроили соревнования по бегу с палкой. Это подлинно пастушеский спорт: бегут по снежной целине километров десять — пятнадцать, высоко подпрыгивая и опираясь на палку, чтобы не увязнуть в снегу. Организовал эти состязания пастух Кованна. Он отдал в качестве приза своего оленя. Мне рассказывали, что в молодости Кованна был лучшим бегуном в округе. Несмотря на свои пятьдесят лет, он вызвался повести спортсменов. Их собралось человек десять, в том числе учитель из «Красной яранги». Подождав, пока все приготовились (соревнуются без поясов и шапок, перетянув брюки на ногах ремешками), Кованна побежал первым. (В начале таких соревнований спортсмены бегут небыстро, время от времени меняются местами, чтобы поочередно быть первыми. Бежать по следам гораздо легче.) Кованна вел всех по плоскогорью, где было меньше снега, километров десять. Наконец он решил, что этого достаточно, и внезапно повернул назад. (С этого момента и начинаются состязания на скорость.) Очень скоро вперед вырвался Коля Олелей из бригады Степана Кильно. Он не раз защищал спортивную честь нашего совхоза на областных соревнованиях, был признанным бегуном, так что еще до начала состязаний все прочили ему победу.

С пригорка у палаток мы видели ближайших три километра дистанции. Уже показались первые бегуны, когда Алексей Лахтой предложил назначить приз и для того, кто придет последним. Тнагиргин, тучный, высокий старик, в прошлом прославленный бригадир оленеводов, отдал на это доброе дело своего оленёнка. Последним бежал учитель из «яранги» Гриша Килькут. Видно, ему было нехорошо, он бежал, держась за

бок, и все же упорно не сдавался, хотел пройти дистанцию до конца. Уже давно Олелей и остальные спортсмены закончили бег, когда почти шагом, смущенно улыбаясь, Килькут приблизился к ожидавшим у палатки зрителям. По уговору все закричали «Ура!», начали поздравлять изумленного Гришу с «победой», а Тнагиргин вручил ему кедровую ветку как символ выигранного оленёнка.

Расскажу еще, как через месяц праздновали свадьбу Любы Киявнаут и Андрея Милюта. Само желание отметить это событие было для местных жителей нашего поселка необычным. Старые, довольно сложные обряды свадеб, описанные этнографами, исчезли. Они были связаны с передачей невесты из одного рода в другой. Революция помогла аборигенам совершить переход от родового строя к социализму, старые обряды исчезли, а новые еще только зарождались. Большей частью семьи возникали буднично, разве что муж устраивал гостям хорошее угощение.

Люба Киявнаут училась в Петропавловске, видела русские свадьбы, и ей хотелось, чтобы ее жизнь с Андреем начиналась с праздника. В доме Любы большую комнату перегородили столами, за которые уселись молодежь и русские гости. А рядом, вокруг клеенок с едой и бутылками, на шкурах, устроились, как им было привычно, старики и старухи в красной замшевой одежде. Я пришел немного с опозданием и остановился у порога в нерешительности, не зная, как пробраться между сидевших на полу людей. Люба — в белом платье и с огромными белыми бантами в длинных черных косах — спокойно прошла сквозь ряды пировавших, подала мне руку и, сказав: «Спасибо, что пришли», повела к столу. Андрей был тоже одет по-парадному — в черный костюм и белую рубашку. Мне досталось место рядом с Леной Гавриловой. Шум в комнате стоял невообразимый.

Вдруг Люба крикнула: «Сейчас будет самодеятельность!». Гости на полу потеснились. Жених принес аккордеон, заиграл. Но вскоре гостям самим захотелось порезвиться. Поначалу танцоры с бубнами еще соблюдали очередь, а потом уже без всякого смущения оттесняли в сторону увлекшегося парня и занимали его место.

Андрей заиграл вальс. Невеста пригласила Галю Горину. Меня выбрала Нелли Павловна. Как и многие крупные женщины, она танцевала удивительно легко и грациозно. Снизу, с пола на танцующих смотрели люди в красных замшевых одеждах. Прямо над их лицами проносились юбки танцующих девушек. Случайный человек, наверное, заметил бы контраст между седыми стариками с бусами в ушах и длинной прядью волос на макушке бритой головы и девушками в прозрачных нейлоновых кофточках. Скоро, несмотря на мороз, нашлись любители бороться. Все высыпали на улицу, борцы сбросили рубашки и, оставшись по пояс голыми, схватились, стараясь бросить соперника на снег. Пятеро ребят отправились наперегонки до юрты Тналхута и обратно. В общем, каждый развлекался как мог. Свадьба получилась замечательная.

Зимой помыслы пастухов занимают оленьи бега. Пожалуй, это был самый популярный вид спорта в нашем совхозе. В качестве премии мы выставляли оленей, ремень для арканов. Для совхоза бега — это и отражение культуры оленеводства, любви пастуха к своему делу. Выучить беговых оленей не под силу случайному в бригаде человеку, мечтающему поскорее вернуться в поселок. Это спорт профессионалов, рожденный во время работы, когда пастухи догоняют отбившихся от стада оленей, когда дружной компанией возвращаются из табуна домой, к своим меховым палаткам, когда хотят проведать товарищей, живущих на соседней реке, что «всего» в полусотне километров за перевалом. Закончится короткая встреча, товарищи поедут проводить гостей «до поворота». Вдруг кто-нибудь крикнет, погонит своих оленей, а за ним и остальные. Веселая тундровая игра!

Бесконечные поездки из бригады в бригаду заставляли меня приглядываться к ездовым оленям, осваивать тонкости управления, учиться с первого взгляда узнавать, хорош ли олень, не упадет ли на полпути от истощения сил. Товарищи в бригадах охотно дарили мне различные детали оленьей упряжи, иногда давали в дорогу быстрых беговых оленей. Впрочем, случалось, что сердитый на меня бригадир клялся, что хороших оленей не осталось, и тогда я тащился далеко позади товарищей, не в силах заставить ленивых животных прибавить шаг. По молодости лет, да и потому, что

был новичком в оленеводстве, мне хотелось обгонять, приходить к палатке первым.

В общем-то у пастухов редко бывают лишние ездовые олени. Расчет здесь таков. Одну пару приходится все время держать про запас для жены. В своих тяжелых одеждах женщина не может активно подгонять оленей и вставать с нарты на крутых подъемах. Одну пару пастух запрягает ранней осенью, ездит на ней месяц, потом отпускает в табун отдыхать и может воспользоваться ею во второй раз (тоже на месяц) лишь весной. Зимой силы восстанавливаются у оленей очень медленно. На декабрь, январь и февраль необходимы еще две пары: одна для дальних поездок, другая для дежурств, ближних поездок, прогулок в соседние бригады. Наконец, почти каждый из оленеводов имеет пару беговых оленей для соревнований, праздников. Таким образом, в бригаде, насчитывающей шесть пастухов, по меньшей мере шестьдесят ездовых оленей нужны им самим. Да еще для кочевки необходимо голов двадцать старых, спокойных быков, чтобы запрягать их в грузовые нарты. И наконец, пар пять-шесть пастухи держат для приезжих (для начальства, гостей).

Чтобы олень был мало-мальски годен для запряжки в нарту, его надо учить четыре-пять дней. После месяца работы в упряжке олень уже настолько привыкает к делу, что его можно взять в дальнюю трудную дорогу. Потом его начинают приучать работать правым, то есть слушаться поводьев, самому вести левого молодого оленя. На выучку бегового оленя уходит около двух лет. Несмотря на отговоры, я, конечно, мечтал сам выучить ездовых оленей. Это стоило мне немалых трудов, но зато я смог убедиться, что обучение оленей работе в нарте, как и всякая другая форма управления их поведением, имеет вполне определенную природную основу. При обучении главным образом используется стремление оленей бежать от опасности. Достаточно, чтобы олень, на которого надета упряжь, подчинился этому естественному стремлению, как главная часть обучения уже достигнута. Увы, все это гораздо сложнее выглядит на деле.

Олень, когда испуган, не только убегает от опасности. В смятении он демонстрирует набор оборонительных реакций. Помню, как Иван Петрович Долганский

приговаривал, глядя на рвущегося, прыгающего, взбрыкивающего, бодающегося, только что пойманного оленя.

— О, как хорошо, вот как ты умеешь, ну-ка, еще раз.

Своего первого ездового я учил в бригаде у Миши Эляле — добродушного гиганта с лукавым взглядом, говорившего о себе в третьем лице. Прежде чем поймать мне оленя, он пытался отговорить меня примерно таким образом:

— Ну пойдем пока чай пить. Эляле тебе своего ездового даст, и поедешь. Кому хочешь скажи — я сам учил. Эляле ничего не знает, ты сам учил.

Я все-таки настоял на своем, и мы выбрали в табуне красивого беловатого трехлетнего быка. Он долго тащил Михаила за собой, когда запутался в аркане. Пастухи очень ловко умеют скользить по снегу, подложив одну ногу под себя, а другую выставив вперед и тормозя. Потаскав за собой человека, олень устал. Потихоньку подтянув к себе, мы повалили его на снег, отпилили под самый корень рога, чтобы он не выбил мне при обучении глаза. Потом Эляле привязал на шею оленю веревку и, улыбнувшись, вручил конец мне.

— Ну давай.

Это было отменное спортивное развлечение. Пять минут олень прыгал, туго натянув веревку, а потом стоял, набычившись, и отдыхал. Снова я дергал за веревку, и снова повторялся «балет». Несколько раз оленю удавалось меня повалить, и тогда приходилось метров сто скользить на животе, пока он не уставал. Мне нужно было добиться от оленя спокойного хождения на веревке. Мы потренировались примерно час, потом я привязал бычка, по совету Эляле, к кусту. Следующий урок у оленя был после обеда. На другой день мы повторили курс уже трижды. И так дня три, пока наконец бычок не смирился с веревкой и не научился более или менее спокойно идти рядом.

Зажав голову упрямца под мышкой, Эляле надел на него уздечку, потом я еще поводил его взад-вперед, потом мы запрягли его в нарту вместе со старым ездовым, спокойно воспринимавшим все выкрутасы своего неопытного товарища. Эляле отвел оленей за уздечку подальше от палатки и, немного пробежав с ними рядом, отпустил. Вот тут и начались скачки с поворотами. Метров пять молодой бычок тянул и нарту, и правого быка вперед, потом начинал лезть под соседа, и мы совершали полный поворот влево. Потом следовал новый рывок и новый поворот влево или вправо. Этот рассказ не будет полным, если я не добавлю, что моя нарта при этом переворачивалась, а сам я подолгу буравил головой снег, пока не удавалось наконец остановить быков. Самое трудное заключалось в том, чтобы тронуться с места снова. В общем, и не знаю, кто кого успешнее объезжал.

Впоследствии я уже не крутился на нарте, а спрыгивал с нее и, приподняв одной рукой, преспокойно поворачивал вслед за оленями. И элоэли я ломал уже не каждый день по два, а один за два дня. Наконец, я узнал, что учить активного неука (необученный олень) легче, чем ленивого, который ложился на снег и терпел какие угодно муки, лишь бы не вставать и не тянуть нарту вперед. Такая пассивная, оборонительная реакция наблюдается не только у оленей, но и у лошадей, ослов, и, если ее не удается сразу перебороть, животное навсегда приходится оставить в покое. При любой новой попытке использовать его для езды животное ложится и не встает уже ни при каких обстоятельствах.

За первым многострадальным бычком последовала хаптырка (важенка, не способная приносить оленят). Она была послабее бычка и больше старалась приспособиться к тому, что от нее требовалось. Скоро она стала неплохо ходить в упряжке, и я начал обучать ее работе правым оленем. Снова важенка металась в упряжке, не понимая команды. Потом она все же потянула нарту вперед и побежала вдоль нартового следа довольно спокойно. Но вот мы подъехали к речке и оказались у тополевых зарослей. Тотчас хаптырка занесла меня в кусты. Я старался направить оленей на дорогу, а они изо всех сил бились, рвались из упряжи и постепенно настолько запутали потяги и уздечки, что я был готов порезать все ремни. Пришлось стволики ольхи и тополей, между которыми запутались олени, срубить ножом. Я выволок упрямых оленей и нарту на дорогу, где и привел все в порядок. Эляле потом не без юмора рассказывал:

— Я вышел из палатки посмотреть, где Леня. Оказывается, в кустах. Думаю, что он делает с оленями, зачем их к кустам привязал?

За три года работы на Камчатке я обучил сам (или закончил обучение, начатое другими) пять оленей. Умения растить беговых оленей я не приобрел. Однако, глядя на то, как работали бывалые пастухи, можно было составить себе достаточное представление об этом сложном деле. Каждый зимний вечер — конечно, если нет сильной пурги,— пастухи ловят своих беговых и устраивают тренировку. Обычно от палаток пастухов во все стороны тянутся хорошо накатанные нартовые дорожки. Олени бегут по ним легко и весело. Ребята не слишком торопятся, по очереди лидируют, меняясь местами, чтобы олени привыкли без особых понуканий обгонять идущую впереди упряжку. И мне нравилось выезжать с пастухами на такую прогулку. Когда до дома остается уже недалеко, темп немного ускоряют, торопят оленей, больнее бьют и уже не уступают дороги. Возле палаток никогда не тормозят, мчатся еще метров двести, как это принято на бегах. Иначе олени быстро привыкают останавливаться у входа в палатку и, усталые, не хотят идти дальше.

После окончания тренировки проводят «чеклятку». Оленям связывают ноги, валят на снег, затем надевают петлю-удавку, свободный конец которой привязан к увесистой шишковатой дубинке — чекле. Она облегчает работу пастуха и усиливает страдания животного. Размахнувшись, пастух дергает дубинку вниз, так чтобы ремень натянулся и затянул петлю на горле оленя. Поднята дубинка — и петля слабее. Снова и снова повторяется эта имитация удушения. Сначала олень бьется, потом затихает, теряет силу сопротивления человеку.

Не знаю, как додумались люди до такого изощренного вида психологической подготовки оленей, но он дает удивительные результаты. Человеку нужно, чтобы ездовые тянули нарту до последней возможности, чтобы не упрямство, а полное истощение сил было пределом работы оленя. Это очень важно и на бегах, где человек и олени должны выложиться полностью. Только с оленями, прошедшими «чеклятку», человек может надеяться выбраться из снежного плена, когда после оттепели наст не держит нарту и она глубоко вязнет. Новички на Севере часто с восторгом смотрят на неспокойных, едва послушных человеку оленей, но это обычно молодые или плохо обученные ездовые.





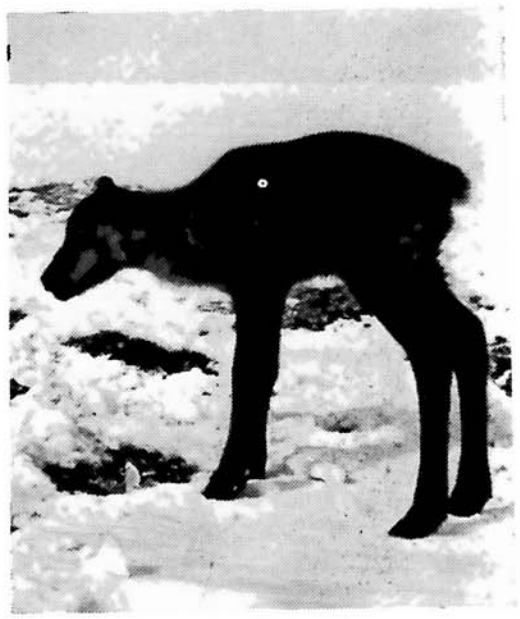
Мороз сковал тайгу. Только раскапывающие снег олени нарушают тишину

Важенки встревожены: как же узнать своего?









На копытцах олененка еще не стерлись кожаные «башмачки» — он не сделал и первого шага

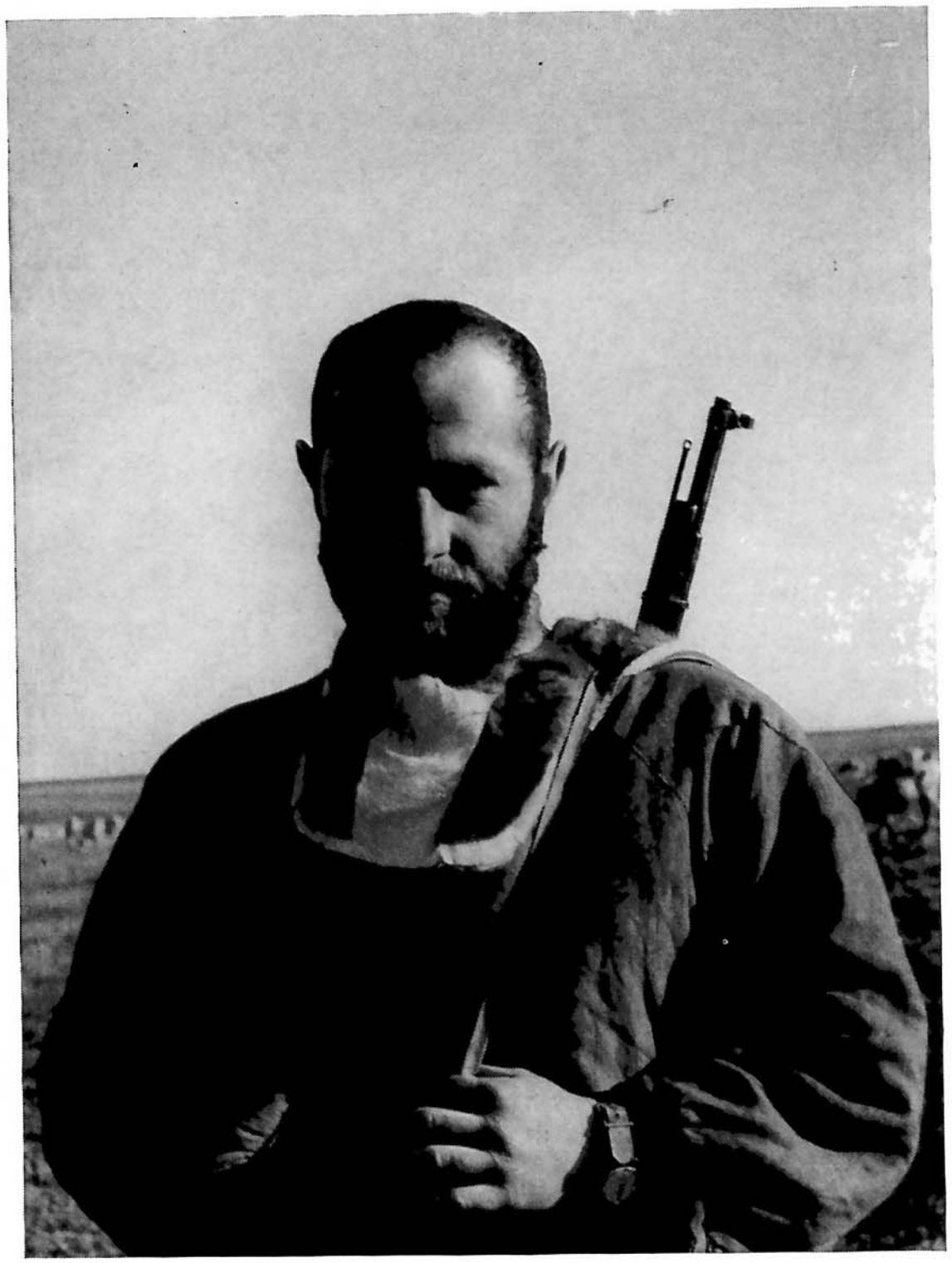
Чуть-чуть приподняться — это тоже достижение

Трудно держать равновесие

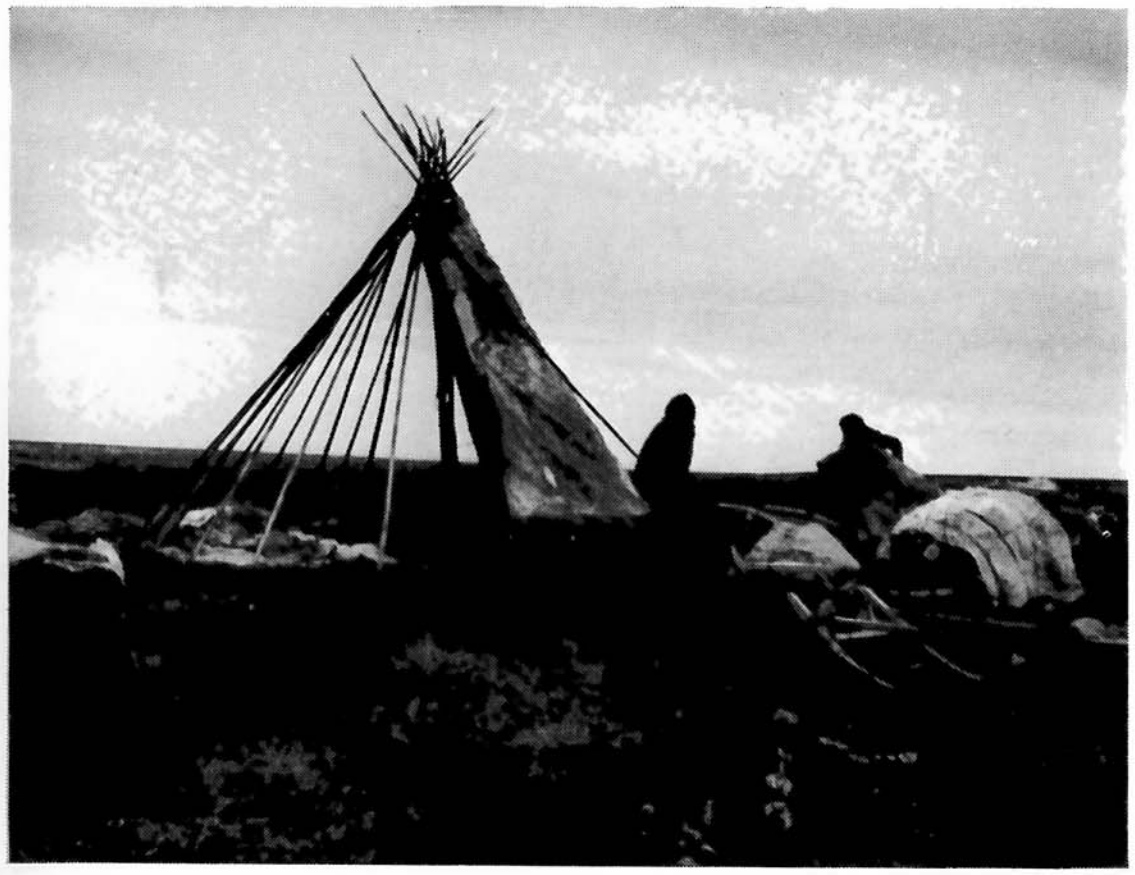
Удалось научиться стоять



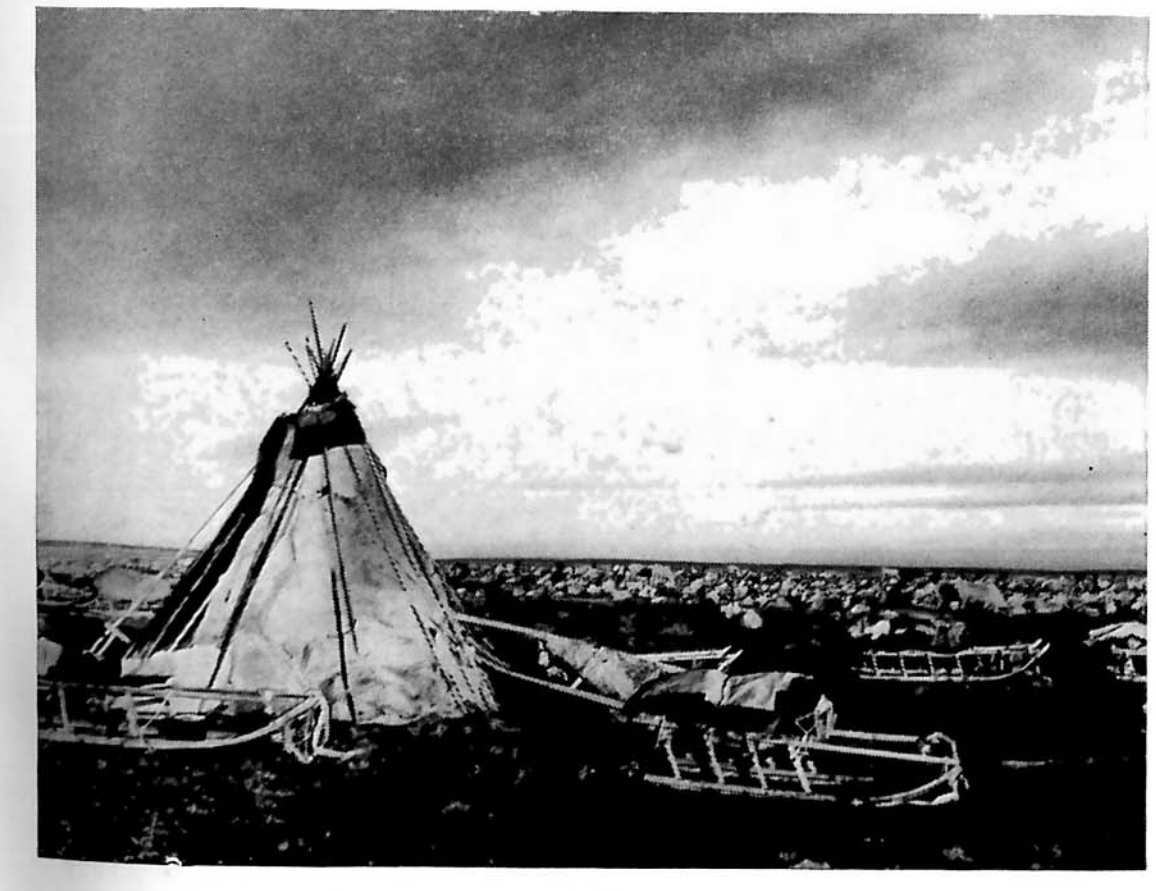
Вырастет из тебя большой олень...



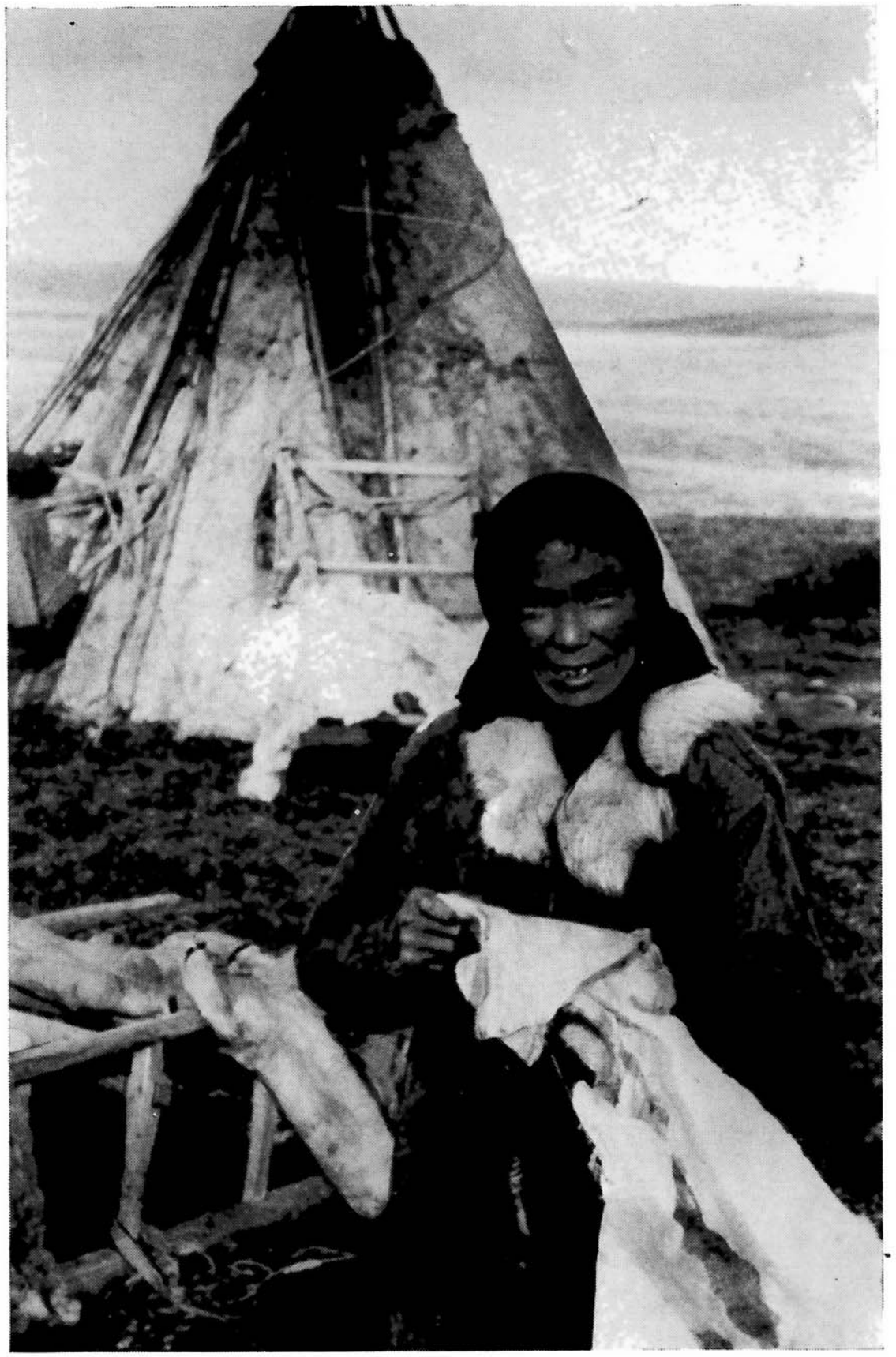
Автор книги в тундре



Через час чум будет готов



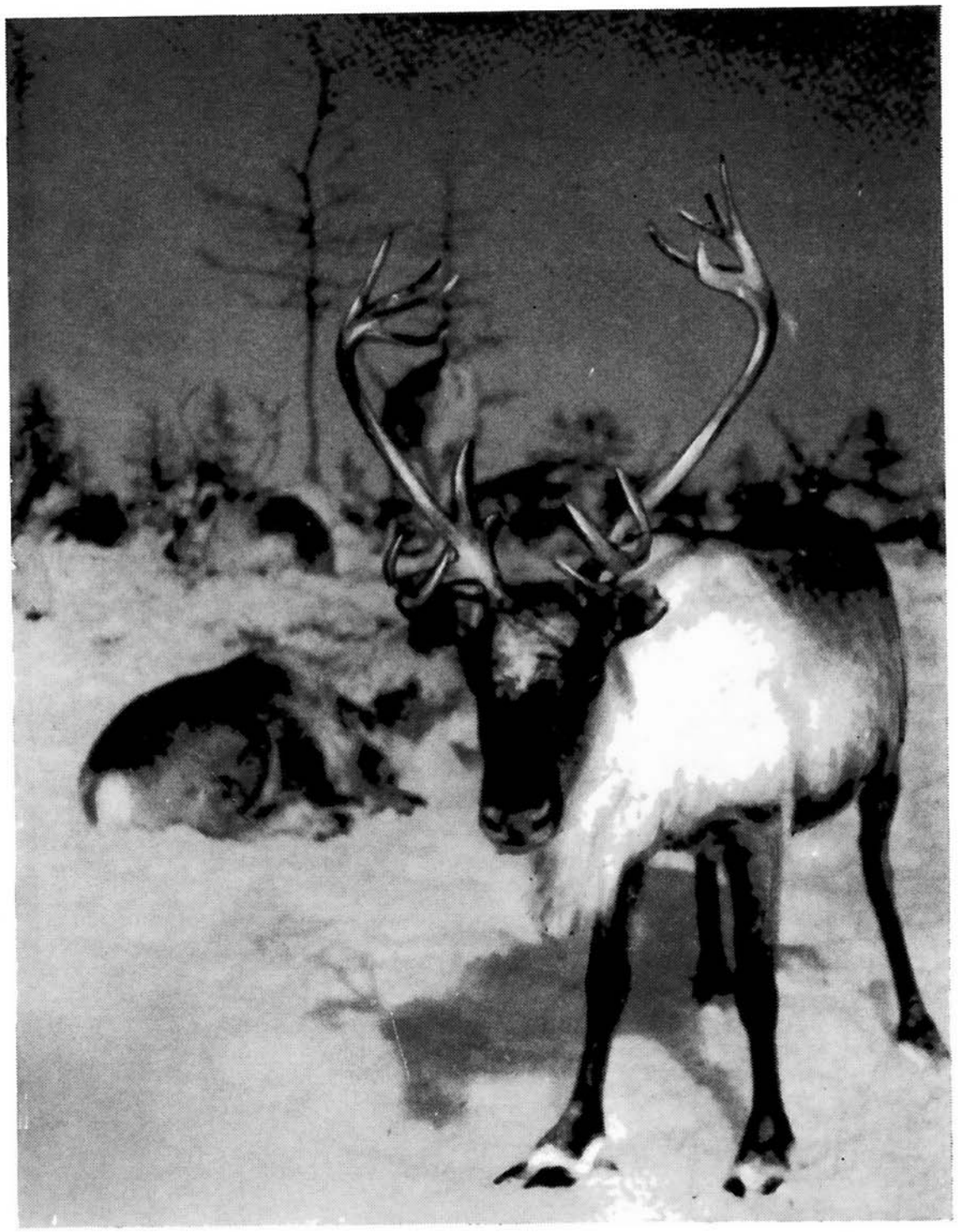
Олени привыкают отдыхать у лагеря



Хозяйка



Отец и сын



Один из главных героев книги

Зима. Все дальше откочевывают табуны в горы. Здесь не так глубок снег, легче найти укрытия от пурги

И как не радоваться, если ночью на пастбище не побывали волки



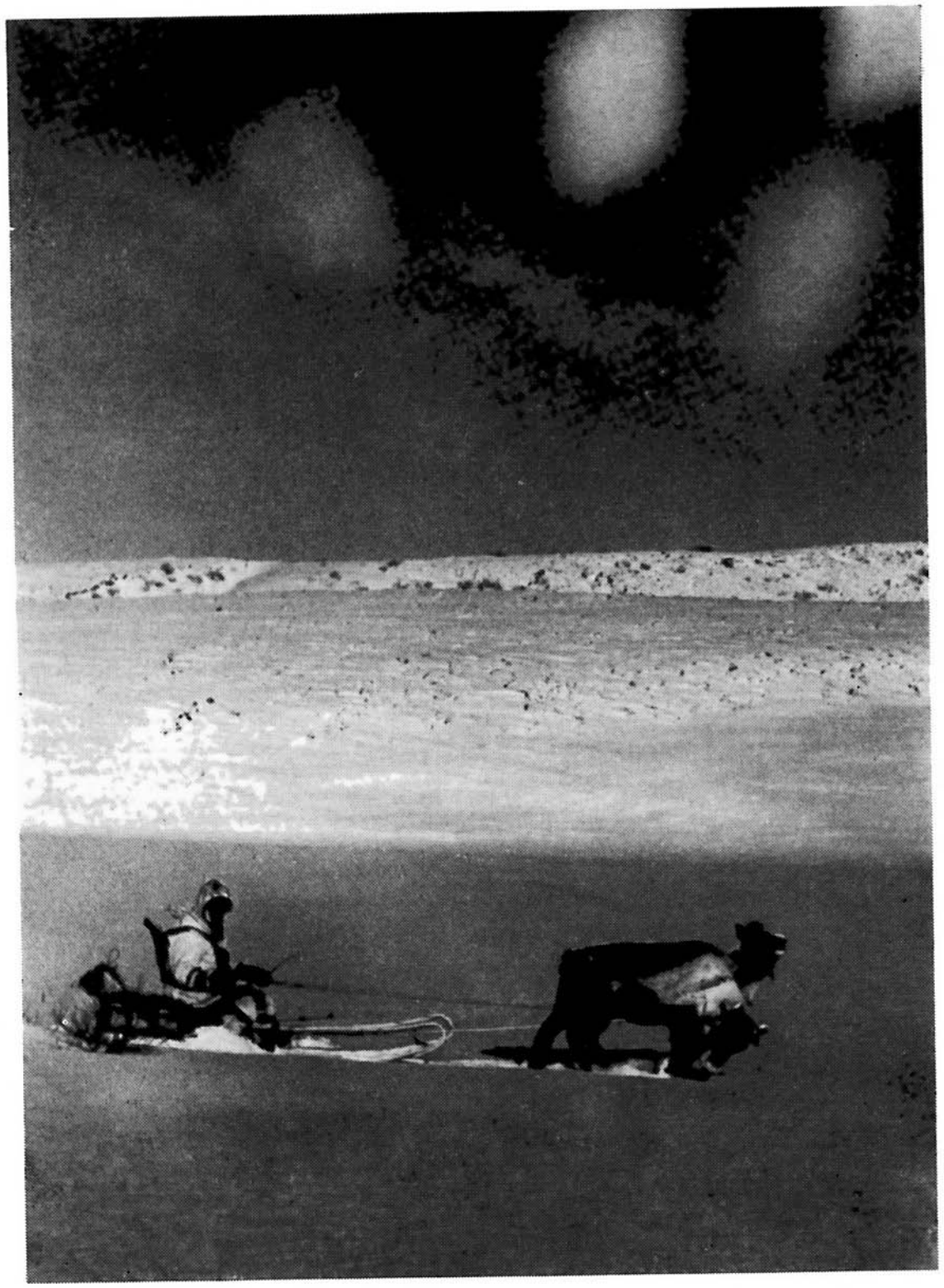




Сборы на дежурство



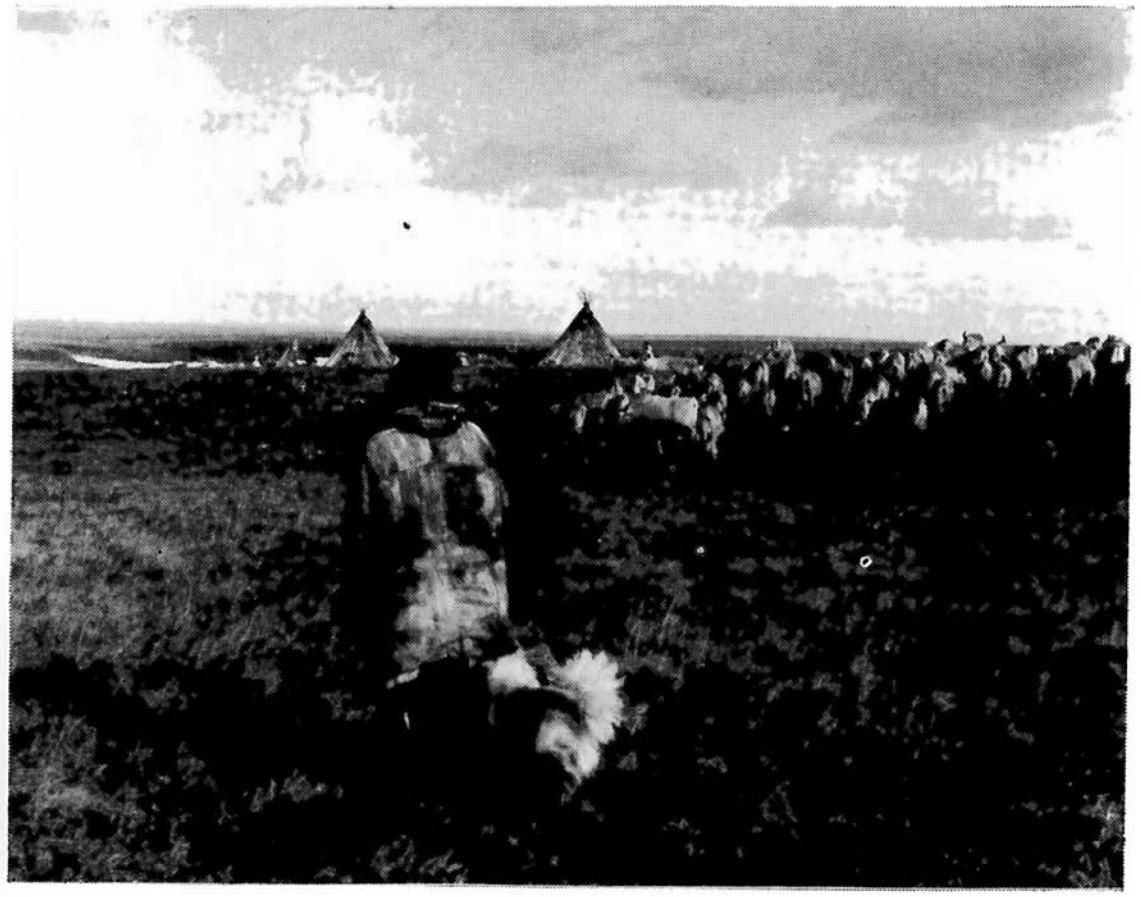
Бригадиры



В дальний путь

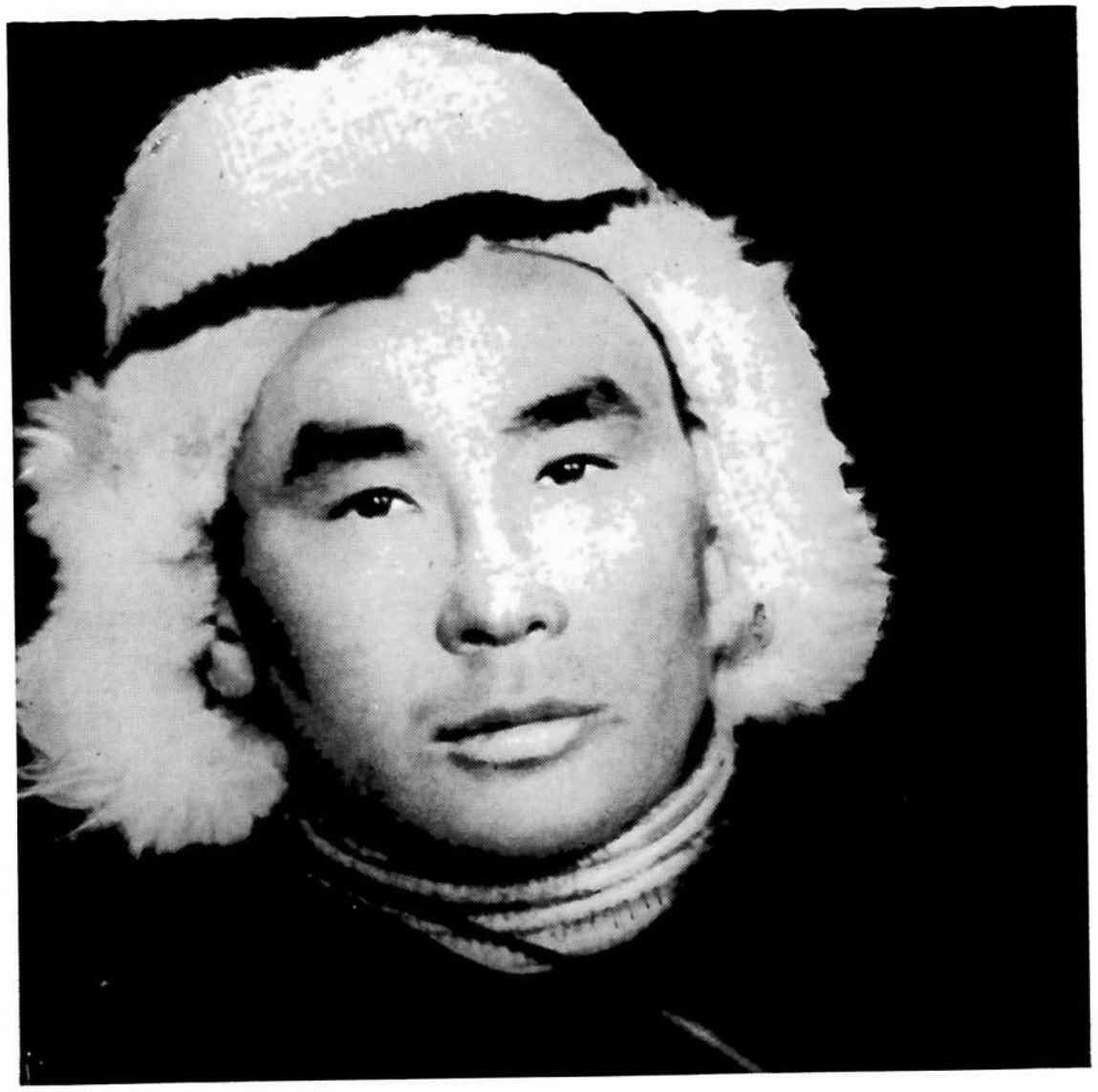


В табуне паника



Еще немного — и можно остановить оленей на отдых









Нганасанская пастушеская бригада колхоза «Путь к коммунизму» и его председатель

Пастух Николай Кинин

Скоро дальняя дорога на Север, пора оставить балок и переселиться в чум

Меховая палатка тепла и довольно просторна. В ней неплохо и семье пастуха, приехавшей его навестить



Олененок послушно следует за человеком

Они отказываются идти уже через час работы в глубоком снегу. Беговые олени чаще бывают понурыми, безразличными к окружающему, они всецело находятся во власти хозяина. И только по их росту, красоте сложения, по отсутствию жира и множеству других признаков опытный человек поймет, что перед ним не отживший свой век старик ездовой, а прославленный многими победами беговой олень.

Подготовка оленей к бегам начинается еще осенью. За лето они накапливают много жира, и необходимо очень медленно сгонять его, одновременно тренируя мышцы. Пастухи добиваются того, чтобы у оленя не осталось ни капли жира на спине и в то же время сохранились жизненно важные жировые депо на почках, за ушами, на сгибах пястных суставов и другие. Мне приходилось видеть оленей, погибших во время бегов. По государственным стандартам их отнесли бы к «тощаку», и все же это были животные, способные долго и быстро мчать по тундре нарту. Пастухи рассчитывают план тренировки так, чтобы олень приобрел наилучшую спортивную форму к соревнованиям. Случается, что животное не доходит до финиша, падает от истощения сил. И опытные гонщики огорченно сочувствуют хозяину: «Эх, не удалось все точно рассчитать». Понятно, что осуществить сложную систему подготовки бегового оленя могут только старики. Молодые ребята, как ни горячатся, как ни стараются, не могут вырваться вперед. На больших бегах первые призы всегда достаются старым оленеводам.

Все начинается очень просто. Мы пьем чай, растянувшись на шкурах. В палатке тепло и тихо, только звякают блюдечки. Спросонья никому не хочется болтать. Рассвет приближается очень медленно. Вот уже пусты все чайники, а кругом темно. Один из пастухов чинит уздечки, другой прилаживает косточку к концу элоэля. Никто не спит, и все немного возбуждены. Сегодня особый день. Сегодня — бега.

Чуть посерела ночь, мы уезжаем в табун ловить беговых оленей. А когда возвращаемся, в палатке все прибрано и как-то торжественно. Сначала даже непонятно, что же изменилось. Потом замечаешь: женщины украсили стены кедровыми лапами, постелили их на пол, и сразу возникло ощущение праздника.

Олени привязаны между палаток. Вокруг них тесно от людей. Громко рассуждают молодые ребята из «Красной яранги».

— У Туркини слишком тяжелы, быстро устанут.

— Мулювье перетренировал, смотри-ка — совсем худые.

— У Долганского отличный правый олень. Помнишь на Тылговаям он взял приз.

Помалкивают лишь старики, но тоже ни на шаг не отходят от беговых оленей. Многих из них здесь знает каждый. Вот круторогая красавица важенка старика Тналхута. Сколько она получила призов! У Григория Долганского пара высоконогих быков — они взяли первую премию еще три года назад. А молодые пастухи все на молодых оленях. С ними как повезет. Если попадутся способные бычки, можно сразу же взять приз. А таких оленей, чтобы побеждали наверняка, нужно учить годами.

Как будто никто не спешит, не волнуется. Одни гонщики еще в палатке, другие заканчивают приготовления к соревнованиям. Но вот Миша Тнакавав относит от палатки копье с красной кистью из кусочков крашеной шкурки молодого тюленя и втыкает его в снег. К древку привязаны три ветки (символ оленьих рогов у чукчей) — большая, поменьше и маленькая. Они символизируют трех призовых оленей, которых совхоз подарит победителям. Слабо дышит ветер, и ветки раскачиваются, словно рога у бегущего оленя.

Вдруг все засуетились: это женщины вынесли из палатки несколько тлеющих углей и быстро разложили на снегу костер. Вот уже рвется к небу веселый и праздничный огонь больших совхозных бегов. Сегодня я, совхозный зоотехник, устроитель бегов. В честь праздника должен быть символически забит олень. Его заменяет колбаска с веточками, воткнутыми в нее вместо рогов, с ягодами — черными грустными глазами. Повторяя народный ритуал, я обхватываю колбаску настоящим арканом и закалываю ножом. Из колбаски разбрызгиваю на все четыре стороны кровь, чтобы повсюду был праздник. Брызгаю на костер, чтобы он тоже не сердился.

Кто хочет, ест заколотого «оленя» и суп из крови с кусочками печени и вареными корешками (коряки называют такой суп опана). А я сажаю на нарту маленького Бурхани и уезжаю по дороге вперед. По обычаю хозяин должен проехать впереди гонщиков, как бы проложить дорогу (на самом деле она, конечно, уже накатана). А ребенка берут с собой, как я думаю, в знак передачи традиции. Пастухи редко могут объяснить, как возникли их обычаи. Им просто нравится поступать так же, как когда-то делали их отцы.

Меня обгоняют гонщики. Они пока не торопятся, разогревают оленей. Первым топчет дорогу Олелей, совсем еще молодой пастух из первой бригады. Потом Иван Долганский, наш старейший бригадир. Наверняка он рассчитывает на приз. За ним впритык — Иван Вувун. Сколько труда он вложил в своих оленей! Когда ни приедешь в бригаду, он учит их, используя каждый свободный от работы день. Нарта за нартой обгоняют меня. Малахаи пастухов крепко привязаны под подбородком, кухлянки перетянуты ремнями, с нарт снято все лишнее. Впереди у них еще двадцать километров, а потом будет поворот, тогда все и начнется.

Я возвращаюсь к палатке. Глухо стучит бубен. В палатке пляшет Тнаковав, наш оленетехник. Танец с бубном во время бегов — это тоже традиция. На красивое лицо молодого чукчи из окошка падает свет. Лицо задумчиво, грустно звучит бубен, небыстро переступают ноги. О чем он думает или грустит? Или мысли его там, на дороге, с бегущими оленями?

Вдруг резко зазвучал бубен. Тревога вошла в палатку. Наверное, сейчас поднялись по реке до перевала и повернули обратно. Диким наметом рванули олени. В ущелье, по дну которого виляет узкая заснеженная полоска реки, а с обеих сторон нависли черные скалы, гонщикам негде обогнать друг друга. Трудно объехать товарища, если он перевернулся или задела за камень и мигом превратилась в груду щепок красавица нарта. Комья снега из-под копыт оленей бьют в лицо, залепляют глаза, гонщики трут их кулаками. Все внимание — внезапным поворотам, обломкам скал, вдруг встающим на дороге. Местами река, словно оступившись, ныряет вниз. Скорость достигает ста километров в час. И через двадцать лет не забыть те минуты — как мелькают мимо скалы, как бросаются из стороны в сторону олени, как снежная пыль поднимается позади бешено мчащихся нарт.

Пять километров спуска по извилистому ущелью, и наконец река в плоской долине, где уже не камни, а тонкие тополя окаймляют русло. Теперь лишь бы вырваться вперед, лишь бы быть первым. Упряжки мчатся в ряд, не разбирая дороги. Вдруг треск, чьи-то олени рванули в сторону, нарта ударилась боком о заструг — и конец: гонщик остался где-то позади.

Борьба все яростнее, с хрипом дышат олени, свистят элоэли. Еще пятнадцать километров гонки. Вувун хитрит, держится в середине. У него хорошо тренированные быки, у них хватит сил и на финишный рывок. А Долганский хочет во что бы то ни стало оторваться. Левый олень в его упряжке слишком молод, силы у него только на первый рывок, надо спешить. Элоэлем, поводом по бокам, снова элоэлем, рывок за уздечку! Нет! Больше не выжать. И тогда пастух закричал, закурлыкал по-журавлиному, словно это не бега, а обычный перегон табуна. И олени рванулись вперед, будто силы им прибавил знакомый с детства крик. И вот уже соседние олени сами свернули на след уходящей нарты.

Зрители забрались на соседний холм, некоторые с биноклями. Иногда кто-нибудь крикнет: «Едут!» Потом приглядится получше: «Нет. Еще нет. Наверное, скоро». Обратно в палатку возвращаются выбежавшие было пастухи, женщины. Снова тихо.

И вот на склоне показалась первая нарта. Я в бинокль не разберу, кто едет, а все уже кричат: «Долганский первый!» Вот совсем близко упряжка. «Дорогу, дорогу!» Теперь последний экзамен, последняя проверка выучки оленей. Нельзя, чтобы они остановились у палатки. Даже уставшие, они должны послушно бежать вперед, до самого копья с красной кистью. С топотом проносится упряжка. Последние метры. Нет сил на прыжки, олени проходят их шагом. А люди уже кричат: «Вувун, Вувун второй!»

Иван Петрович Долганский подъехал к финишу, быстро выпряг оленей и отпустил их. Они хватают губами снег, тяжело дышат. А большая ветка — символ взрослой оленухи, что досталась победителю,— в руках у Андрея Аписа. Таков обычай — приз на бегах может взять себе любой, кому хочется, кому нужен олень. Победитель дарит свою награду. Долганский смеется: «Пусть Апис берет».

Победителю дорог не приз, радостна победа.



ЖЕНЩИНЫ ВТОРОЙ ПАСТУШЕСКОЙ БРИГАДЫ

Николай Кинин кочевал далеко от центральной усадьбы совхоза. Ни пастухи его бригады, ни сам бригадир не бывали в поселке по полгода и более. Не удивительно, что, кроме молодого учетчика Феди Илькани, все жили в тундре с семьями, а детишки, в том числе и дочка Кинина Лена,— в школе-интернате. Веселая и радушная была эта бригада, мне нравилось у них. Но в совхозе восемь бригад, так что в одной не засидишься. Однажды я провел в этой бригаде все время отела.

Кинин стоял тогда на южных склонах Ильпиная — «горы с плечами». Чтобы попасть к нему, пришлось подняться на высоченный отрог. Чуть отдышавшись на перевале — я ехал с отцом Кинина стариком Тналхутом,— выпрягли оленей, привязали их сзади к нарте, чтобы тормозили на спуске — у них копыта покрепче наших ног, да и тех четыре,— и заскользили вниз. Лучше бы сказать — помчались. Спуск шел узким ущельем, снег на его дне слежался до плотности льда, и наши бедные олени тормозили больше лежа, просто волочась за нартой. Еще ниже появился настоящий лед, отсюда, видимо, начинались истоки реки. Ущелье виляло с удивительным проворством, и я едва мог рулить ногами. К счастью, олени успевали, где снег был помягче, вскочить на ноги и тормознуть. На одном из поворотов они вовсе остановили меня. Не удержавшись, я соскользнул с нарты, словно пирог с лопаты, но падать уже было некуда, и я приземлился тут же. Через минуту сзади ко мне лихо подкатил Тналхут.

— Молодой человек быстро ездит, часто падает, а нарту старик чинит,— сказал он назидательно. Была у старика страсть к поучениям. Судя по белой спине,

Тналхут тоже падал, но я не задавал неуместных вопросов.

Уже темнело, мы быстро запрягли оленей и тронулись в путь. Старик хорошо знал эти места, уже через несколько минут мы выехали на свежую нартовую дорогу и по ней быстро выскочили к палатке. С опозданием залаяла собака, но, обнюхав старика, сменила лай на визг. Старик тоже обрадованно гладил ее: «Мальчик, Мальчик». Из палатки вышла женщина.

— Амто, мей,— окликнул я ее.

— И-и-и, Мироныч! — Кечигвантин засеменила к нам, на мгновение прижалась к своему свекру, потом подала мне руку.

— Како, како, Мироныч етти (ой-ей-ей, Мироныч приехал).

— Минки пастухен (где пастухи)? — спросил я.

— Утку нелла (в стаде).

Мы быстро распрягли оленей и отпустили их по направлению к табуну на отдых. Хорошенько выбив снег из одежды, мы нырнули в теплый сумрак палатки, где горел маленький жирник.

— Коле, коле, свечки нет? — не замедлил я удивиться.

— Нету, нету,— словно обрадовавшись, запела Кечигвантин.— Свечки нету, килеба нету, сахар нету.

— Ой-ей, мей. А мясо есть? Кинуни котвам?

— Котвам, котвам (есть, есть).

Вокруг снова была милая моему сердцу табунная жизнь. Как хорошо завалиться на шкуру, отоспаться, а завтра пойти в табун. Старик Тналхут однажды так объяснил мне смысл жизни: «Немножко работай, устал — отдыхай, поешь и снова работай. Так хорошо жить». Я отвалился на шкуру, но рядом со мной что-то взвизгнуло и через мгновение оказалось Прохой, а потом и ее трехлетним сыном.

— О, Проха, что же это ты гостей не встречаешь?

— Я спала.

Кечигвантин у печки что-то сердито заворчала.

— Что она говорит, Тналхут?

— Проха все спит и спит, ничего не помогает. Всегда так молодой человек,— заключил старик. Он вообще любил обобщать.

Кечигвантин поставила перед нами маленький

столик, положила несколько пластин юколы, и мы, замолчав, принялись есть. Старик протянул по пластине Прохе и ее сыну, так что возможность разговаривать осталась только у Кечигвантин, и она воспользовалась ею в полной мере. Я понимал ее быструю речь плоховато, но исправно прерывал еду для вежливого «э, э», вроде нашего поддакивания. Вдруг снаружи послышались голоса, потом в палатку заглянул Кинин.

— Здравствуйте, с приездом.

— Здравствуй, Коля,— отвечал я.

Кинин всегда отличался вежливостью. Вслед за ним заглянул Тынетегин и закричал:

— Здорово, Леша!

— Здравствуй, Сережа! — в тон ему отвечал я.

— Здорово, старик!

Но Тналхут ограничился «э». Он относился к Сергею критически и не упускал случая выразить это.

Постучав сколько положено выбивалками по одежде, оба втиснулись в палатку, начались рукопожатия и расспросы. Я вылез наружу и, развязав на нарте груз, достал свечки, галеты, сахар и буханку хлеба. Кечигвантин то и дело напевала «Мироныч, Мироныч». На столике появилось мясо. От разогревшейся печи стало тепло, мужчины сбросили кухлянки. Разговор, как обычно, шел на корякско-чукотском языке (Тынетегин и Проха были чукчи, а Кинин с женой и отцом — коряки). Часто примешивались и русские слова. Кечигвантин с воодушевлением произносит целую речь, и все, бросив свои разговоры, слушают ее, часто смеются. С трудом я улавливаю, что она вспоминает, как вышла замуж за Кининлада. Он рано остался без матери, а Кечигвантин к тому времени овдовела. Возрастом она намного старше Николая. В здешних краях это не редкость. Молодые люди женятся на женщинах старше себя — хороших хозяйках, мастерицах шить одежду, без которой в тундре не проживешь. Впрочем, с каждым годом все больше браков ровесников. Новое берет свое. Кечигвантин рассказывает, каким смешным был Кинин, когда она увидела его впервые.

— Ага, ага,— с удовольствием подтверждает Николай.— Кечигвантин очень много пережила за свою жизнь. Она все умеет, и табун может пасти.— В голосе Кинина звучит гордость за жену, она невольно передается мне. Я с уважением гляжу на пухленькое ли-

чико старой тундровички. А она, как ребенок, радуется вниманию, смеется, что-то быстро говорит.

Я выхожу из палатки. Мороз довольно сильный, но я долго смотрю на окружающие палатку горы. Они совсем рядом и кажутся особенно крутыми и грозными. Время от времени из трубы над палаткой вылетают искры и, неторопливо кружась, поднимаются вверх. Кругом тишина, горы, снег. Сняв с нарты вещевой мешок, я затаскиваю его в палатку, начинаю разбирать. Кечигвантин что-то оживленно пытается мне объяснить. Я не понимаю ее и лишь меланхолично поддакиваю на чукотский манер: «Э, э, э». Вдруг она резко дернула меня за рукав и, повернув к себе, с удвоенной энергией закричала прямо в лицо: «Э-э-э!» — и, не удовольствовавшись этим, высунула язык, потом еще раз, крайне обиженно, но уже тихо передразнила меня: «Э». Не понимая, в чем дело, я смотрел на нее, пока мужчины не пришли нам на помощь. Оказывается, Кечигвантин просила меня дать ей русское имя.

Русские имена жители Камчатки получили перед первыми выборами, когда регистрировали избирателей. Наверное, у секретаря была слабая фантазия. Например, половина мужчин в нашем совхозе — Николаи Николаевичи. Вероятно, имела русское имя и Кечигвантин, но забыла его.

Я вглядывался в ее пухленькое огорченное личико с расплюснутым носиком. Приметным в нем были лишь две синие полоски татуировки, тянувшиеся со лба по носу и далее пунктиром по подбородку. В конце концов я нарек ее Ириной с обычной, как я уже говорил, Николаевной в заключение. Она осталась очень довольна и остаток вечера употребила для заучивания нового имени. На радостях Кечигвантин выудила из потайных запасов мешочек юп-пина (пережаренной с жиром муки), и мы с удовольствием съели это лакомство.

Следующие несколько дней пролетели незаметно. Пастухи работали в две смены. Днем дежурили Кинин с Тынетегиным, ночью — Федя Илькани с одноглазым Гиклавом — все молодые, веселые ребята. Старого Тналхута на другой же день снарядили за продуктами.

В десяти километрах от нас два пастуха держали стадо быков. На время отела их отделяют от важенок,

чтобы не мешали кормиться. Рядом с бычьим табуном находилась меховая палатка, где жила жена Гиклава. После ночного дежурства вместе с Федей Илькани он часто уезжал туда с утра. Там они отдыхали, а Федя еще успевал съездить на беговых оленях в соседнюю бригаду к своей невесте.

Я проводил весь день в табуне и находился в палатке только ночью. Первое время непривычным было ощущение спокойствия, какое чувствуешь только на отеле. После бесконечной езды на оленях зимой, после мартовских отбивок, разбивок стад — вдруг тишина, солнце, горы и табун: медлительные, отяжелевшие важенки. От солнца обгорают лицо, руки, от солнца обтаивают, словно обугливаются, гребни хребтов; на речном льду всюду голубеет вода; и над всем миром — голубое небо. В полдень задремлешь, подставляя лучам то один, то другой бок, сквозь дрему слушаешь и никак не поймешь: стучит капель, а где? Кругом ни крыши, ни деревца, а она стучит, звенит. Вдруг с шорохом осел подтаявший сугроб, и замерла капель, придавил ее снег.

Ночью солнце сменяет луна. Это ей суждено заглянуть в глаза новорожденных телят. Каждый час мы обходим табун и то тут, то там встречаем новых обитателей земли, вежливо поднимающихся нам навстречу на дрожащих ножках. Иногда кто-нибудь из них рождается в несчастливый час, и тогда луна провожает олененка. Поздним вечером, положив такого страдальца на плечи, я спускаюсь вниз к палаткам, где Кечигвантин или Проха лишают его единственного богатства — пушистой шкурки (по-русски «пыжика»).

Обязанности у зоотехника, выехавшего на период отела в стада, довольно разнообразны. Надо решать, куда перегнать стадо, послать ли на время в соседнюю бригаду Тналхута, как лучше оказывать ветеринарную помощь оленухам и просто помочь пастухам в их повседневной работе.

Помимо обязанностей зоотехника хотелось еще выполнить ряд специальных научных наблюдений за развитием олененка. Начав отсчет времени с первых минут его жизни, я старался понять, как этот несмышленый, никем не направляемый малыш сам учится сосать, следовать за матерью, находить ее в стаде. Не было никаких сомнений, что мать не пыталась, да

и не могла ему помочь. Она только насухо вылизывала его, иначе он быстро замерз бы на снегу. Случается, что мать не вылижет олененку кончики ушей, и тогда они отмораживаются и отпадают.

Олененок довольно скоро после рождения начинает шевелиться, поднимает головку. Постепенно его движения становятся более уверенными. Он рождается с запасом жира и в очень хорошей шкурке, так что может прожить и не питаясь, продолжать двигаться и кричать в течение трех дней. Через час-полтора после рождения олененок в первый раз встает на ноги, тотчас падает, но снова поднимается. Время стояния уже измеряется минутами.

Мне удавалось подметить четыре врожденные реакции у новорожденного. Он стремился подойти к крупному, немного подвижному предмету, находящемуся не далее чем в трех метрах от него. Это могли быть и человек, и оленуха. Подойдя, он старался подлезть под него — под рукав, под кухлянку, под оленуху. А когда что-нибудь заслоняло небо над ним, он поднимал голову. И кроме того, он стремился сосать все, к чему прикасался мордочкой. Вот этих четырех реакций ему хватало, чтобы войти в контакт с матерью. Дальше он мог учиться.

Наблюдая за олененком, нетрудно было заметить, что, подходя к матери, он мог оказаться всего в четырех положениях: под шеей, грудью, животом и сзади. Всякий раз он поднимал голову, сосал шерсть и, не получая молока, продолжал свои поиски. Наконец он случайно оказывался под животом, натыкался на вымя и немного сосал. Иногда важенка неловко поворачивалась, толкала его; потеряв равновесие, теленок падал. Встав, он с утроенной энергией продолжал попытки. Минут через двадцать он уже твердо усвоил «географию» тела матери и, попав под шею, направлялся вдоль ее тела к вымени. Интересно, что вскоре после этого он переставал без пользы сосать шерсть где придется. Когда он попадал к вымени, хвостик олененка начинал удовлетворенно шевелиться, и мать, привлеченная этим движением, лизала зад своего малыша.

Первый день олененок только ел и лежал, на второй он уже начинал следовать за матерью, когда она отходила чуть в сторону. Так он обрел уже довольно устойчивое положение в мире. Следуя за матерью, он мог

знакомиться с окрестностями, соседями. Тревожным зовом оленуха предупреждала его об опасности, и малыш привыкал бояться людей, лис, ворон, собак.

Выяснять все эти подробности с секундомером или кинокамерой в руках было нелегко. Сильно мешали почти непрестанные пурги. Скоро они стали для меня такими же привычными, как и для других пастухов. Ветер даже помогал мне ориентироваться. Обычно он по нескольку дней дул в одном направлении, и, уезжая от палатки к табуну, я запоминал, дул ли ветер в лицо или в бок, и во время дежурства частенько проверял себя — верно ли ориентируюсь. К счастью, стадо в период отела было очень малоподвижно. Затянув все ремни, надвинув на глаза капюшоны, мы двигались в снежной сумятице, словно рыбки в аквариуме,— так же плавно, чтобы не свалиться в какую-нибудь яму, все время по одному месту, из одного конца табуна в другой. Нельзя было позволить пурге засыпать уснувших оленят. Всякий раз, спугнув важенку, надо было посмотреть, а идет ли за ней олененок. Если нет, найти его в снегу, разбудить, направить за матерью. Случалось вытаскивать оленят из ям, откуда они не могли сами выбраться. Вредили нам лисы, а однажды наведалась и росомаха.

Дня два у меня отняли заботы об олененке, которого оставляла без присмотра мать. Это было следствие прошлогодней ошибки пастухов. Они не отделили из отельного табуна годовалую оленуху. Когда ее мать родила нового, сильная годовалая дочь отбила у него мать. Не то чтобы она нарочно обижала малыша. Просто, когда мать звала, скорее откликалась старшая. Ей же доставалось молоко. И успокоенная мать уводила за собой годовалую оленуху, бросив малыша на произвол судьбы. В этом году история повторилась в еще более печальном варианте. За зиму связь матери с взрослой дочерью окрепла. Они обе отелились весной и обе бросили новорожденных. Материнский инстинкт старшей был вполне удовлетворен дочерью, а та предпочитала следовать за матерью и не заботилась о своем малыше. Правда, последний был слабенький, как это часто бывает у молодых оленух, и мы не очень огорчились, когда он погиб. Другое дело — сын старой важенки. Этот горластый крепыш не хотел мириться с черной судьбой, да и мы не желали потерять еще од-

ного олененка. Молодую оленуху, как обычно, опалили лучинкой, чтобы придать чуждый запах, изрезали шерсть. В общем, все сделали, чтобы «разбить» их любовь с матерью. А «старуху» привязали, и я по многу раз в день наведывался к ней, валил на снег, кормил олененка. Это дало свои результаты, отпущенная на свободу важенка больше не искала взрослую дочь и хорошо заботилась о маленьком.

Как всегда, на нашем попечении оказалось несколько оленят-сирот, у которых матери погибли или не захотели кормить новорожденных. Подсадить сиротку к важенке, отелившейся три-четыре часа назад, не слишком сложно. «Свой» запах олененок приобретает после того, как насосется молока, а это случается в первый раз через 2—3 часа после рождения. До этого времени все новорожденные пахнут хоть и сильно, но похоже. Матери охотно вылизывают их, потому что в околоплодной жидкости есть синестрол — вещество, необходимое для ускорения отделения последа. Когда подсаживаешь сироту, трешь его о зад матери, смачиваешь ему головку молоком. Важенка хоть и принюхивается подозрительно, но принимает.

Хуже, если собственный олененок прожил несколько дней и мать не только хорошо запомнила его запах, но и начала узнавать «в лицо». У нас в стаде наблюдались два таких случая. Старик Тналхут использовал тогда любопытный способ. На приемыша он надел шкурку погибшего олененка, сшил ее несколькими стежками на животике. Смешно было видеть, с каким недоумением и сомнением изучала приемная мать такого ряженого. К счастью, важенки плохо запоминают голоса оленят и откликаются даже на плохое подражание им человеком. Одна из матерей, несмотря на все наши старания, так и не приняла «ряженого» олененка. Три дня мы держали ее на привязи, причем веревка стягивала ей ноги, чтобы она не могла ударить приемыша. И все же мачеха сумела его затоптать. Бедняга погиб.

Судьба другого подкидыша в одежке оказалась более счастливой. Он был очень энергичен и настойчив, хрипло мэкая, рвался к матери, нисколько не обращая внимания на ее сомнения. Первые два дня мы кормили олененка, удерживая важенку за рога и хвост — тянули в разные стороны, не давали ей пошевелиться.

А на третий, отправившись вечером на дежурство, я увидел прекрасную картину — и мать и олененок спали рядышком, бок о бок. Мать, испугавшись меня, вскочила на ноги, а олененок спрятался за нее, время от времени трогал важенку носом, словно напоминал ей о себе.

Женщины целые дни проводили в одиночестве. Ночные дежурные, если и не уезжали в печвак, не были склонны к долгим разговорам. Попив чаю, они моментально заваливались спать, и «Ирина» с Прохой снова оставались одни, если, конечно, не считать еще ребенка. Впрочем, дел у них было очень много: они шили и чинили одежду, готовили юп-пин или пин-пин (пепел для жевательного табака) и тому подобные снадобья. Каждая женщина имеет красивую и, главное, длинную песню, а это в тундре очень важно. Каждый чукча и коряк имеет свою личную песенку и даже обижается, если кто-нибудь попытается ее заимствовать.

Уже в сумерках мы возвращались из табуна. Обессиленные пастухи, по пояс мокрые и дрожащие от холода, хотели одного — есть. Кечигвантин мигом втаскивала в деревянном корыте мясо. Пока мы орудовали ножами (чукчи говорят: зубами рвут мясо собаки, а у человека есть нож), уже бывал готов суп. Только после еды разувались и переодевались в теплое и сухое, а для Кечигвантин и Прохи наступало долгожданное время человеческого общения. Они стрекотали без умолку, не забывая тем временем расставлять чашки и разливать чай. Никто не перебивал женщин, хотя и слушали не очень внимательно. Как правило, сначала выкладывались все новости. Вторую часть программы занимали жалобы. Их всегда приберегали на конец, особенно главные.

Кечигвантин чаще жаловалась, что ушибла что-нибудь — руку, ногу. Проху волновал куда более широкий круг проблем. Уж на что Сергей был от природы добродушным парнем, но жена допекала и его. Однако на конец разговора у него всегда было припасено одинаковое: «Ну, ты привыкай как-нибудь». Вообще Проха была фигурой особенной, тем более что они с Сергеем были молодоженами. До замужества она работала в школе, в табун попала впервые. Так или иначе она очень любила рассказывать мне, видимо надеясь на большее внимание, как она одинока и несчастна в та-

буне, где и кино привозят редко, и поговорить не с кем. Как ни странно, она очень гордилась своей неприспособленностью к тяготам тундровой жизни, неумением шить и другими «талантами». Впрочем, в глазах Сергея все это придавало ей некоторую необычность и привлекательность. Он охотно мирился со своей непочиненной одеждой, терпел разные неудобства, но всегда повторял: «Ну, ничего, научишься, ты привыкай, ты старайся».

Прямо сказать, я не очень верил в «привыкание». Достаточно было вспомнить, как мы ехали в феврале в табун. Был страшный мороз, крикнешь — и звук не летит, словно замерзает. Сколько ни машешь руками, сколько ни стучишь ногами по полозьям нарты, часа через три ни тех, ни других не чувствуешь. На чаевку остановились — в пору резать уздечки: пальцы одеревенели, никак не могу распрячь оленей.

Мы уже и дров принесли, и мясо сварили, и чай вскипятили, а Проха сжалась в комочек и от нарты ни шагу.

— Проха, иди чай пить.

— Не хочу.

— Проха, иди кушать.

— Не хочу.

Что делать? Запрягли оленей, поехали дальше. Через полчаса Проха говорит Сергею: «Вот вы сами поели, а мне не дали». Сергей молчит. «Вам все равно, хоть я с голоду помру. Ты меня никогда не любил». Сергей остановился, мы тоже. Достал мяса. «Ешь».— «Нет, не буду. Вы небось горячее мясо ели, а мне хоть зубы поломай?» Сергею, конечно, стыдно перед нами, но молчит. Никому неохота останавливаться: распрягай, запрягай, собирай дрова, вари чай; день короткий — получается, не столько ехали, сколько чаевали. Все же остановились, напоили Проху чаем.

Необходимо рассказать об еще одном «жильце» палатки, которого Кечигвантин перекрестила сама. Както я вернулся из стада, принес трех погибших оленят. Кечигвантин была страшно возбуждена и попыталась рассказать мне, в чем дело. Даже Проха не потребовалась в качестве переводчика. Это была удивительная пантомима. Сначала женщина шлепнулась на землю и принялась усиленно изображать выделку шкуры. Через несколько мгновений на лице ее выразилось недо-

умение и она стала оглядываться. С губ ее слетало: «Бор-бор-бор-бор...» Она вскочила, выбежала наружу, огляделась там, снова вернулась, так повторилось пару раз, пока она, не выкрикнув «нинвит», то есть «черт», не принялась бегать вокруг палатки, то и дело хватаясь руками за голову. Ничего не понимая, я следовал сзади, тоже начав прислушиваться. Никаких «бор-бор». В недоумении я вернулся за ней в палатку, а Кечигвантин, изобразив все степени удивления и ужаса, начала рыться в углу и наконец с торжествующим возгласом «Русский черт, русский черт» выволокла действительно бормочущий... транзисторный приемник.

Вечером тридцатого апреля в нашей палатке было непривычно чисто и торжественно. Кечигвантин застелила пол свежим кедровым стлаником. Сразу и запах, и свежесть. На другой день, быть может под впечатлением этого, я решил испечь пироги. Для первомайского праздничного пирога было все необходимое: мука, сухие дрожжи и банка яблочного варенья. Замесив тесто, я подвесил котелок с ним возле трубы под крышей палатки, в самое теплое место. «Ирина» внимательно следила за моими действиями и, вероятно, очень сожалела, что я перевожу понапрасну такие дорогие в тундре продукты.

Освободился я к полудню, пообедал и ушел в табун. Он был виден в бинокль из палатки, черные точки — олени медленно передвигались на самой вершине Ильпиная. День был безветренный, теплый, и лишь небо не синее, как обычно, а немного белесое. Раза три передохнув по дороге, я наконец выбрался на левое плечо Ильпиная. Здесь я нашел нарты, чайники, погасший костер, но пастухов не было: они перегоняли часть стада на соседнюю вершину, на свежие пастбища. Я собрался было идти к ним, но Кинин установил «маяк», то есть палку с какой-то одежкой. Это был вполне понятный сигнал. Связав нарты и уложив на них все хозяйство, я отправился на новое место. И когда пастухи закончили свое дело и пришли к «маяку», чайники уже закипели, мясной суп сварился, и я от всего этого сидел очень довольный. Мы подкрепились, почаевали и как-то незаметно задремали.

Очнулся я только через час, от ощущения холода на лице. В полной тишине шел снег; не игривые, веселые снежинки, а сонные и тяжелые хлопья тихо кру-

жили вокруг, мы уже все были погребены под довольно толстым слоем.

— Снег,— сказал я.— От моего голоса очнулись ребята и тоже тихо повторили: «Снег». Подниматься, куда-то идти не хотелось. Наконец Тынетегин, отряхнувшись, пошел к вершине сопки — к оленям. Мы оставались на месте. Легкие дуновения ветра в спину ничуть не беспокоили, наоборот, успокаивали, усыпляли. Потом комок снега попал мне в лицо, я сонно мотнул головой и проснулся. Открыл глаза и сразу вскочил. «Пурга, Коля, вставай, пурга».

Словно не было ни сна, ни покоя, ни синего дня. Только снежный вихрь и снежная пыль в лицо со всех сторон. Где горы, где табун, где все? В какие-то мгновения мы уложили груз на нарты, поставили их торчком, связали, чтобы не унесло и не засыпало. Потом поспешили к табуну. Очень скоро мы разделились, незачем было держаться вместе. В такую пору нужно скорее спустить табун вниз.

Свистом, криками я сгонял важенок с лежек, поднимал сонных, пригревшихся под снежной шубкой телят, брал вправо, влево, спотыкался, скользил и, постепенно приведя все стадо в движение, погнал под склон. Потом я снова поднялся вслед за четырьмя важенками, зовущими телят. На их мэканье никто не отзывался, я попытался им помочь, но безуспешно. Снег залепил лицо так, что приходилось проковыривать дырочки для глаз. Наклонившись к земле, я пытался что-нибудь увидеть. Но не знал даже, куда ступаю: то зарывался в уже надутые сугробы, то скользил на обледеневших камнях. Постепенно я потерял надежду найти телят, отчаялся и нетерпеливо ждал, пока придет Кинин.

Вскоре мы сошлись, он приблизил свое лицо к моему, улыбнулся: «Пурга». Еще с полчаса мы лазили по снегу, раскапывали его ногами. Вдруг Кинин закричал, подзывая меня. Он все-таки нашел одного теленка. «Я думал, камень, палкой ударил, а это кончик уха торчит. Спал, не хотел даже головы поднять. Тепло под снегом»,— смеялся он. Которая из важенок была матерью теленка, мы разбираться не стали, выкопали его из снега, и я положил себе на плечи. Спасти остальных уже не было надежды. Все же Кинин остался еще побродить. Но вдогонку он вдруг крикнул мне, чтобы я

остановился. Он подошел и с легкой осторожностью в голосе сказал:

— Мироныч, надо бы спуститься к палаткам, не случилось ли там что-нибудь?

— А Илькани с Гиклавом?

— Может быть, заблудились. Все равно им ехать через табун.

Я подумал о дороге к палатке! Вокруг была пурга, ничего знакомого — ни гор, ни речки.

— А не заблужусь?

— Наверное, нет,— отвечал Кинин.— Иди прямо вниз, до речки, по ней тоже только вниз.

Теленка я оставил у приметных кустов, присыпал снегом, чтобы не замерз, будет день — найдется и мать. Едва видя, я действительно выбирал дорогу, как сказал Кинин: «Только вниз». Пугали возможные обрывы на пути. Но делать было нечего, я вряд ли заметил бы их раньше, чем свалился вниз. К речке слева и справа приходили притоки, я не считал их, стараясь только не пропустить каменной стены, что была по левому берегу. Сразу за ней на пригорке стояла наша палатка. Я держался левого берега реки и скоро нашел нужное место. Затем свернул вверх по склону и вышел на знакомый бугор. По всем признакам это было место стоянки, но палатки найти не удалось.

Я упрямо пахал снег вдоль и поперек, силился разглядеть что-либо вокруг, свистел, кричал, но ни палаток, ни людей не было. Я не знал, что подумать. Ветер, рвавшийся по ущелью речки, здесь завихрялся, толкал то в спину, то в лицо, я стоял в снежной толчее и, казалось, заблудился. Уже часа три я был один. Можно было отчаяться, но я знал, что где-то бродит Кинин, собирая табун, где-то пробиваются к перевалу Илькани с Гиклавом, сидит на вершине сопки Тынетегин. На всей огромной территории нашего совхоза, растянувшейся от Охотского до Берингова моря, работали сейчас наши пастухи.

Но где же женщины, где ребенок? Шло время, а уйти я не решался. Уже начало темнеть. Оставаться здесь на всю ночь мне не хотелось. Тундра все упрощает. Каждый делает здесь что может и еще сверх того, а потом приходится думать, что делать дальше? Ничего не оставалось, как вернуться.

Я тронулся в путь, теперь уже выбирая дорогу только в гору. Струйки воды попадали за шиворот и стекали на грудь. К тому же было очень душно. В пургу всегда так. Хотелось есть. А главное, некуда было уйти от печальных мыслей. «Правильно ли я сделал, что бросил поиски? Живы ли женщины?» Темнота и снег окружили меня, словно заперли. Ощупывая ногами и палкой дорогу, я шел вверх, пока какая-то таженка в испуге не шарахнулась от меня. Попасть в табун — это почти то же, что попасть в родной дом. Я снова обрел свое место в мире. К тому же и Кинин с Тынетегиным нашлись довольно быстро.

— Наверное, кочевали,— было первым, что сказал Кинин на мое сообщение.

— Наверное, кочевали,— подтвердил Сергей.— Старуха в тундре не пропадет.

Такого спокойствия я не ожидал. Оставалось только жалеть о погибших пирогах. Вряд ли пурга помогла тесту подняться. Закопавшись поглубже в снег, повернувшись спинами к ветру, сидели мы в первомайскую ночь и ждали рассвета. Пожалуй, это самый памятный мне праздник. Около четырех часов утра ветер чуть стих, но снег еще шел. Тынетегин отправился к палаткам, а мы оставались в табуне. Еще через час вдруг подъехали на оленях Илькани с Гиклавом, они ночевали на той стороне горы, под перевалом. Мы сели к ним в нарты пассажирами и через полчаса спуска по сугробам были у стоянки. Первый, кого я увидел, был Тынетегин. Он быстро раскапывал снег лопатой, что-то искал. Сердце екнуло в моей груди. Соскочив с нарты, я подбежал к нему, он вскрикнул и схватил меня за плечо. В то же мгновение я увидел у ног здоровенную снежную яму, до самой земли, а на дне ее Кечигвантин. Она преспокойно жарила на костре лепешки. Пошли в расход мои пироги.

— Коле, коле, мей! — закричал я.— Минки еенна? (Где палатка?)

— Вон в кустах. Кечигвантин туда кочевала, чтобы было теплее,— ответил мне Тынетегин.

Я не поленился добрести туда. Между кустов, метрах в ста от стоянки, как крыша над снежной ямой, была натянута палатка, борта ее закопаны в снег. Судя по надвое разорванному потолку, наскоро сшитому толстой белой ниткой, женщинам досталось в пургу. Я сунул в эту снежную нору нос: там на ветках преспокойно спала Проха вместе со своим сыном. О! Напрасно я волновался за Кечигвантин. Действительно, как говорит Тналхут, «старые люди в тундре все знают».

Не переодевшись в сухое, не наводя порядка, мы накинулись на еду. Как положено: поработал — поешь, отдохни — снова можно работать.



ПО СЛЕДУ В ПОЛОВОДЬЕ

Всю короткую весеннюю ночь, не давая оленям передышки, мы гнали и гнали их вперед. Кажется, отмахали довольно много, табун Эляле должен был быть где-то неподалеку. Предательское солнце быстро выкатилось из-за снежных гор и начало растапливать нашу дорогу. Часам к шести уже стало тепло, пришлось сбросить верхние кухлянки. С каждого бугорка мы высматривали в бинокль табун, и наконец черные точки оленей показались на далеком склоне. Мы пробивались к ним, весело кляня и мокрую снежную кашу, и измученных оленей. Пришлось достать лапки (плетеные лыжи) и пойти впереди, проминая дорогу. За мной прыжками тянулись олени. Табун был все ближе. Показалась брезентовая палатка, люди, смотревшие из-под рук. Вот уже осталось метров двести, уже мы видим лица.

Эляле, добродушный гигант, не поленился прошагать по снегу навстречу, взял у меня оленей.

— Ну, уже приехали, давай отдыхать.

Эляле расположился на большой проталине. Снизу ее подпирало бескрайнее снежное поле, а сверху глядели почерневшие по гребням горы. Олени паслись прямо у палаток, некоторые неторопливо жевали обрывки одежды, грызли кости. Пятеро пастухов, женщины, трое малышей лениво бродили и лежали под солнышком. После трудной зимы и перед летней дальней дорогой у них выдались мирные, спокойные дни.

Женщины пустили детишек гулять голышом — в одних коротких торбазишках, чтобы погрелись под ласковым весенним солнцем. Ошалев от неожиданной свободы и легкости, малыши с веселым криком носились по желтым от прошлогодней травы кочкам. Олени не боялись их, и только оленята следили за детьми исподлобья, некоторые вдруг подпрыгивали, отталкивались сразу четырьмя ногами и бросались вперед — то ли пугаясь, то ли приглашая побегать наперегонки. Девочка Эляле присмотрела себе небольшую снежную горку и попробовала съехать по ней, как обычно каталась зимой, когда была в меховых штанишках. Теперь это оказалось очень неприятным. Да, не годились для весны зимние развлечения.

Просчет новорожденных оленят в стаде Эляле уже провел Миша Тнаковав, наш оленетехник, и увез отчет вечером накануне нашего приезда в поселок. На всякий случай я переписал копию, остававшуюся в делах бригады. У меня теперь были сведения по пяти бригадам. И я заранее представлял, как в ответ на упреки начальства — почему запоздал с отчетом — буду отвечать:

— Лучше поздние вести, да хорошие.

Недаром с марта торчали в тундре, выбирали получше пастбища, подкармливали оленей солью и жиром, завезенными за полтысячи километров.

Павел Иванович Нивани, наш парторг, весело насвистывая, что-то сводил в своей записной книжке. И он ради общего успеха поработал с пастухами немало. В этот день он устроил короткое собрание. Павел Иванович говорил людям, что через месяц — выборы. Бригада уже будет идти к далеким летним пастбищам, но ее обязательно найдут, чтобы люди могли проголосовать. Мы вместе уже полтора месяца скитались по тундре из бригады в бригаду. Что он мог сказать людям, когда еще сам не знал имени кандидата? И все же он нашел, о чем сказать: что это обязательно будет хороший, честный человек, и выдвинут его в кандидаты их же товарищи, те, кому легче будет собраться вместе. Павел Иванович напоминал людям, что и в тундре они — часть совхоза, района, государства. И слушая его, видя, как слушают его пастухи, я понимал, что это, может быть, самое главное, что нужно помнить мужчинам и женщинам, кружком расположившимся на прошлогодней сухой траве.

Дорога домой нас как-то мало волновала. Мы без конца говорили о ней до сегодняшнего утра, пока не узнали, что Тнаковав с Петей Хоялхотом, пастухом из бригады Эляле, уже уехали. Им предстояло переправиться через две реки, пройти по весенней снежной каше полтораста километров. Мы же шли по их сле-

дам, вторыми идти не страшно. Раз кто-то прошел — пройдем и мы.

Часов в шесть вечера пастухи собрали стадо покучнее и стали выбирать для нас ездовых оленей. Просить Эляле дать нам животных получше не приходилось — он и сам понимал, в какую дорогу мы отправляемся. Впрочем, выбор у него был невелик. Олени отощали за зиму. Тут было не до лучших, лишь бы они дошли до дому, не упали, а надежды на это было немного. Одного за другим пастухи ловили худых, уже начавших линять оленей, ощупывали их — крепок ли хрящ ушей, есть ли шарик жира на пястном сгибе, живые ли глаза, как рога — если растут молодые, наполненные кровью панты, значит, еще есть у него сила. Я понимал, что только опыт пастухов дает надежду на правильный выбор.

Уже с вечера, глядя на быстро проступающие в небе звезды, мы поняли, что весна подарила нам еще одну морозную ночь. Вполне вероятно было, что она окажется последней. То я, то Павел Иванович подходили к краю проталины, трогали снег и тотчас сообщали друг другу свои наблюдения. Уже начала появляться корочка наста, часа через два она обещала окрепнуть достаточно, чтобы выдержать оленей.

Мы увязали нарты задолго до того, как окреп наст. И когда выехали, олени еще то и дело проваливались по грудь в снег. Правили от проталины к проталине. Как только выбирались на черное место — сухую прошлогоднюю траву, соскакивали с нарты и бежали рядом. Потом надо было снова забираться в снег, олени начинали барахтаться, пробивая грудью тонкий наст. Предательская корочка сейчас, пожалуй, только мешала, ломаясь, как только олень переносил тяжесть тела на передние ноги. Животные тыкались мордой в снег, падали, приходилось их понукать, кричать.

С каждой минутой становилось холоднее. На поверхности снега уже отсвечивал тонкий лед. Все чаще олени рысью проходили десятки метров, прежде чем попасть на участок, где снег еще недостаточно промерз. И наконец тундра плавно потянулась под нартой назад, зазвенела, загудела под копытами.

За время подъема на перевал я поближе познакомился со своими оленями. Как приглядываешься к случайным попутчикам, сначала не зная, что им больше по нраву, так и я быстро заметил, что олени мои очень непохожи. Правый — светлый, видно, от природы был наделен умом чуть большим, чем положено среднему оленю. Его черные глаза, ярко выделявшиеся на почти белой морде, то и дело поглядывали искоса на меня. И стоило мне чуть отвернуться, как потяг ослабевал и правый устраивал себе небольшую передышку. Прикосновение элоэля правый переносил очень нервно — тотчас подымал хвост, сыпал орешками. Левый же был работягой. Черный, рослый, он изо всех сил тянул лямку, а если подстегнуть, то и пускался вскачь. На этом олене Эляле временами участвовал в бегах и брал призы.

Павел Иванович, видно, тоже приноравливался к своим оленям, потому что молчал. И только когда я объезжал его, чтобы пойти первым, подсказал: «Подтяни повод правого». Павел Иванович помимо того, что был парторгом и за свою жизнь окончил несколько партшкол, отлично знал оленей, виртуозно работал арканом, а на оленьих бегах состязаться с ним могли лишь старики. Я тотчас же послушался его совета, который оказался правильным. Натянутый повод сигнализировал белому оленю о всех моих желаниях. Он успокоился, перестал коситься назад, пошел ровнее и старательнее.

На перевал мы выбрались только к рассвету. Открылась безбрежная путаница речек и хребтов, постепенно понижавшихся к пока еще далекой долине реки Вывенка. На северном конце ее, там, где серое небо сливалось с уже обтаявшей пожелтевшей тундрой, располагалось наше Хаилино. Отсюда, с Корякского хребта, мы словно по карте прослеживали тот путь, который вскоре нам предстояло пройти.

Здесь еще только начиналась весна. А внизу снег оставался лишь по долинам ручьев, да и там всюду виднелись большие пятна проталин. Пройти верхом, гребнем хребта, с тем чтобы спуститься к долине Вывенки напротив Хаилино, нечего и думать. Места здесь скалистые. Путь был лишь вниз и по предгорьям, там, где еще сохранился снег, через два больших притока Вывенки. Первый из них — Ветвей начинался вроде бы и не так далеко от нас.

Часам к девяти утра стало совсем тепло. Мы остановились на большой проталине. Наскоро распрягли

оленей, пустили кормиться. Пока Павел Иванович настрогал мясо, я развел костер, приладил рогульки, повесил котелок с водой, зачерпнув ее из ближайшего ручейка. Под весенним солнцем на мягком мхе мы задремали. Потом пожевали мяса, попили чаю и завалились на солнцепеке спать.

Часа через четыре Павел Иванович разбудил меня. Густой чай постепенно привел меня в чувство. Привычно преодолевая неприятные ощущения, я натянул торбаза, еще не просохшие от ночной дороги, перележил хорошенько груз на нарте, чтобы сидеть повыше, и мы снова тронулись в путь. Эляле подробно рассказал, каким путем он направил Тнаковава с Хоялхотом. Их след мы встречали там, где ожидали, и постепенно совершенно успокоились, шли, где было удобнее, и лишь на стрелках, когда сходилось несколько ручьев, не ленились искать нартовый след.

Вода заливала ложбины у нас на глазах. То и дело снег с шумом оседал под ногами оленей. За нами оставалась широкая борозда, залитая водой. Местами снег уже совсем не держал: олени, проседая все глубже, рвались вперед, рано или поздно приходилось и нам слезать в воду, вытягивать нарту. Снег отпускал ее с громким хлюпаньем. Часа в четыре дня мы выбрались на речку. Вид черной, быстро бегущей воды неприятно поразил нас, хотя мы и не очень надеялись застать реку еще подо льдом. Где-то ниже по течению, километров на пятьдесят, находился маленький поселок Ветвей.

— Придется рубить плот да плыть туда на плотах,— пошутил Павел Иванович.

— А потом месяц там загорать?

— Тоже ведь часть нашего совхоза.

Я только махнул рукой. Совсем это был не выход — очутиться на весь период разлива в маленьком поселке, где и одному управляющему не всегда находилось дело.

След Тнаковава уходил вниз по реке. Эляле, хорошо знавший ее, предупреждал нас, что лед мог сохранится лишь под белой скалой, где Ветвей делает крутой изгиб. И теперь мы изо всех сил торопились туда. Оленей нужно было жалеть — путь неблизкий. Поэтому большей частью мы бежали, и лишь там, где снег сохранился, плюхались, отдуваясь, на свои нарты.

У белой скалы мы увидели несколько петель следов по берегу. Видимо, ребята искали для переправы место побезопаснее. Но там, где они подходили к реке, всюду уже шла вода. Она несла маленькие и большие льдины. Время от времени они скапливались под скалой, образуя непрочный мост, но нам казалось, что ребята нашли где-то переправу получше. Через полчаса мы как будто уверились в том, что они не пошли в поселок Ветвей, и переправились через реку. Там впереди нас ждала еще Тополевая. Как пройти через нее, не знал и Эляле. Миша Тнаковав, прежде чем стать оленетехником, работал там пастухом, и мы надеялись, что вслед за ним перейдем и Тополевую.

В который раз я просматривал прибрежную полосу, когда Павел Иванович вдруг решил попробовать въехать на очередной затор у скалы. Ему удалось добраться до середины, но тут лед начал расходиться. Раздумывать мне не приходилось, разделяться нельзя ни в коем случае, и я тоже погнал оленей на лед. Полоска воды между нами быстро ширилась. Я ударил своего белого правого оленя элоэлем, и он первым прыгнул через промоину, увлекая за собой и левого. Я видел, как ушла под воду моя нарта и передней частью попала под лед.

Я звал товарища, совсем не зная, может ли он мне помочь, а сам, повиснув на льдине, одной рукой пытался оттянуть оленей немного назад, чтобы высвободить нарту и поднять ее на лед. Между тем нас продолжало сносить вниз по реке. Видимо, где-то наша льдина надломилась, потому что начала крениться в мою сторону. Олени уже были по колено в воде, но нарта вдруг боком взгромоздилась на край. К счастью, Павел Иванович еще не успел ничего предпринять. Теперь он погнал своих оленей, мои рванулись вслед, волоча и нарту и хозяина. Не помню, как мне удалось подняться со льда на нарту. Мы, словно на эскалаторе, мчались вверх по плывущему ледяному мосту. Этой зыбкой дороги, вероятно, было всего-то метров двадцать, но они показались очень длинными.

Уже не раздумывая, Павел Иванович погнал оленей в воду, к узкому островку. Здесь промоина была метра два шириной, так что опасности уже не было. Без колебаний мы проскочили мелководье и вышли на берег. Сгоряча мы проехали не останавливаясь еще с

километр, потом остановились кормить оленей и пить чай. Несмотря на купание, наша запасная одежда, крепко увязанная в мешки из оленьей замши, почти не промокла, и мы могли переодеться.

Скоро стемнело. Ночь была совсем теплой. Наш костер горел ярко и весело. Растянувшись возле него, мы в который раз переживали короткие минуты переправы.

— Вот Тнаковав с Хоялхотом натерпелись страху. Они ведь шли первыми,— говорил Павел Иванович.

— А может быть, они не решились сунуться и повернули к Ветвею?

— Нет, не должны. Следов вниз нигде не было.

— Но и на этом берегу их не видно.

— Завтра найдем,— уверенно сказал Нивани.— Тут немного подальше есть каньявчик (узкий небольшой каньон), он прямо ведет к перевалу на Тополевую. Там обязательно найдем их след.

Павел Иванович задремал, а я, пересиливая сон, ждал, пока закипит вода, чтобы сварить мяса. Случайно я обратил внимание на какое-то шевеление у камня под скалой. Там ходил какой-то небольшой зверь. Постепенно он приблизился к костру, вошел в освещенный круг. Я увидел крупного сурка, очень красивого — серого, с черноватой шапочкой на голове. Зверек осторожно поглядывал на огонь, каждые несколько шагов останавливался и поднимался на задних лапах. Павел Иванович перевернулся на другой бок, отворачивая лицо от костра,— наверное, стало жарко. Его движение насторожило и заинтересовало сурка. Не опускаясь на передние лапы, он вперевалку — точь-в-точь маленький медвежонок — подошел к Павлу Ивановичу и уставился на него. Костер отсвечивал в темных, чуть раскосых глазах зверька. Я с интересом ждал, чем эта история кончится.

То ли от пристального взгляда, то ли от припекавшего со спины костра Павел Иванович очнулся ото сна, открыл глаза. Несколько секунд они молча, в упор — наверное, между ними было сантиметров двадцать — смотрели друг на друга. Я увидел, как рука Павла Ивановича судорожно начала шарить по земле, ища оружие. Вдруг он встал на четвереньки и залаял на сурка. В страшном волнении он пытался нащупать руками карабин, наконец это ему удалось, и тогда, не

прекращая лая, он вскочил на ноги, вскинул карабин к плечу и... замер, видимо потеряв сурка из вида. Еще не отойдя ото сна, Павел Иванович огляделся вокруг, посмотрел себе под ноги, увидел сурка, и тут на его лице отразились удивление и облегчение...

Мы хохотали с ним до колик в боках. Уже укладываясь спать, Павел Иванович снова и снова начинал вспоминать, как открыл глаза и увидел перед собой медведя, как роем пронеслись у него в голове мысли: «Все, пропал, Мироныча уже съел, что же делать, дайка притворюсь собакой, буду лаять, может быть, успею схватить оружие».

Приключений сегодняшнего дня ему хватило с избытком. В середине ночи я проснулся от света костра. Павел Иванович пил чай.

— Ждешь медведя? — спросил я.

— А чтоб его. Как засну — опять морда перед глазами.

Мы тронулись в путь очень рано. Каньяв, о котором говорил Павел Иванович, оказался неудобен для езды. На дне его шумел бурный весенний ручей, а борта ущелья были слишком круты, чтобы по ним ехать. Приходилось без конца переправляться через поток, часами идти краем крутого склона, удерживая нарту рукой. Поневоле вспомнилась невеселая присказка: «Не ходи по косогору, сапоги стопчешь».

Нартовых следов на снегу попадалось довольно много, но все они здорово обтаяли, и разобраться в них мы не могли. Все же впечатление было такое, что мы идем правильно — Тнаковав и Хоялхот здесь прошли. К полудню мы наконец выбрались на перевал. Из-под снега вытаяла прошлогодняя брусника, мы собирали сладкие красные ягоды, время от времени запивая их водой, которую высасывали из льда на камнях.

Мой белый правый, наевшись, уже лег отдыхать, а черный левый все ел и ел, никак не мог насытиться. Это был верный признак того, что жира у него уже не осталось и он скоро упадет. Я попробовал скормить ему кусок нерпичьего жира, которым каждый день мазал сапоги, чтобы не промокали, но олень отказался от него — не привык.

Около четырех часов мы направились к Тополевой. С перевала к реке вело множество больших и малых долин, так что мы не стали искать след Тнаковава, на-

деясь найти его у реки. Ночь мы провели на пологой терраске, где оказалось много ягеля для оленей, дров для нас. Место было уютное, с густым ягелем, разросшимся между кустов кедрового стланика. Мы не ленились запалить большой костер и, согретые его теплом, заснули. Разбудили нас прикосновения холодных влажных хлопьев снега, падавших на лицо. Рассвет еле пробился через густой снегопад. Все кругом побелело, костер шипел и не хотел гореть. Зато нарты лучше шли по припорошенной снегом земле. Было зябко и мокро. Снег быстро таял на нашей одежде, и часа через два мы были мокрые.

Тополевая показалась нам еще неуютнее, чем Ветвей. Льда уже не было совсем, и река быстро текла мимо белых от снега кочек, по затопленному половодьем ольшанику. О том, чтобы влезть в черную, недобро плескавшую воду, мы и не помышляли. Тнаковав, выросший в этих местах, несомненно, знал брод, и мы думали лишь о том, чтобы найти следы людей, шедших впереди нас. Покрутившись по реке вдвоем, мы разъехались — Павел Иванович вверх, а я вниз по реке, договорившись, что повернет назад через два часа тот, кто не найдет ни следа, ни брода. Однако не повезло ни мне, ни ему, и к вечеру мы снова стояли над рекой, не зная, что предпринять.

— Я думаю, что и на броде ребятам было не сладко по такой воде,— сказал Павел Иванович.

— Все равно, когда помнишь, что люди уже переправлялись здесь, спокойнее. А тут и сунуться куда не знаешь.

— Дела наши плохи,— согласился Нивани.— Ни назад, ни вперед, хоть режь оленей да живи здесь, пока вода не сойдет.

— Мой левый и так скоро упадет.

Олень, еще недавно нервный и пугливый, тащивший нарту за двоих, когда правый отлынивал от работы, теперь стоял понурый и безучастный ко всему.

— Пока думаем, надо кормить оленей,— сказал Павел Иванович.

Под непрекращавшимся снегопадом мы пустили оленей кормиться. Своего левого я даже не привязывал. Он неразборчиво хватал и хватал пучки ягеля. Ягель состоит почти целиком из углевода и очень быстро, как всякий сахар, восстанавливает в организме

силы. Запаса в организме оленя уже не было. Что он ел, тем и жил.

Павел Иванович был старше и опытнее меня, и в дороге я безоговорочно с ним соглашался. Теперь положение у нас было более сложным. Как все аборигены, он совсем не умел плавать и боялся воды больше, чем я. У нас было два предложения. Но они, как ни странно, были противоположны. Я предложил соорудить плот, а Павел Иванович стоял за старый пастушеский способ переправы — на нартах, за оленями. Я согласился, хотя оба мы знали о нем понаслышке. Плыть на плоту из сырых тонких деревьев по такой бурной реке было не слишком заманчиво, казалось лучшим довериться оленям.

Снегопад уже кончился, слегка подморозило. Нам нужно было найти место, где течение било от нашего берега к противоположному, с удобным выездом из воды. Подходящая излучина скоро нашлась. Плыть по течению предстояло метров семьдесят, но зато и заход и выход были на мелководье. Мы привели сюда оленей, снова пустили их кормиться, а сами принялись рубить ножами жерди, чтобы подсунуть их под нарты и сделать более плавучими. Немного поспорили над необходимостью весла. В конце концов было решено, что без него не обойтись. Элоэли мы привязали под нарты, а себе вырубили по шесту, слегка затесав с обеих сторон.

Солнце не показывалось. Невесело было лезть в холодную воду. Первым ехал Павел Иванович. Я думаю, ему было страшнее, чем мне. Я все-таки надеялся выплыть, по крайней мере нож передвинул поближе под руку, чтобы успеть освободиться от поводьев на руках, если перевернусь вместе с нартой. Мы больше всего надеялись на то — и в этом, собственно, была суть изобретения пастухов,— что олени потянут нарту настолько быстро, что ее, словно лыжу, выжмет наверх. Для этого мы и потяги перевязали за середину нарты, так, чтобы освободить ее переднюю часть.

Несколько секунд олени Павла Ивановича не хотели идти в воду, он цокал языком, махал шестом. Вдруг они послушались, потянули нарту в реку. Я погнал своих оленей сразу за ним. Боялся, что мой правый заупрямится. Олени поплыли, а нарта еще шла по дну. У меня мелькнула мысль, что она не всплывет. Что

тогда делать? Вода уже покрыла мне плечи, одежду прижало к телу, она надулась пузырем, потом вода просочилась к телу, охватив его словно ледяным панцирем. Окунувшись с головой, я все же продолжал сжимать ногами нарту, и наконец она начала всплывать. Прежде всего я увидел впереди своих оленей Павла Ивановича, потом обратил внимание на черные круги воды вокруг. Казалось, было очень тихо, я уже ни о чем не думал, напряженно удерживая равновесие. Левый олень тянул сильнее правого, и приходилось изо всех сил натягивать левый повод, чтобы не дать ему повернуть меня вниз по реке. Через несколько секунд, уже на середине, нарта вынырнула настолько, что я сидел в воде по пояс. Шест здорово мне помогал, я использовал его как балансир.

Уже недалеко от берега олени почувствовали под ногами землю. Скорость движения тотчас же упала, нарта зачертила по дну. Павел Иванович слез с нарты, но течение сбивало его с ног. Он упал, но олени продолжали тянуть вперед и вытащили его вслед за нартой. Через несколько секунд со мной произошло то же самое. В воде я выпустил из рук шест. Нарту раза два перекатило через меня. Мы словно боролись.

Уже на берегу холодная вода, а может быть, и волнение дали себя знать. У обоих тряслись челюсти, и мы не могли унять дрожь. Молча, с ожесточением, окоченевшими руками мы рвали узлы веревок на нартах, чтобы отвязать привязанные снизу жерди. Олени поминутно встряхивались, осыпая снег брызгами. Наконец мы смогли двинуться вперед. Как назло, олени были неспокойны, путались в кустах, спотыкались. Мы выводили их на место почище. Вдоль реки ивняк образовывал довольно густые заросли, склонившиеся над глубокими, полными воды промоинами. Мы погружались в них по грудь. Казалось, этим купаниям не будет конца. Мы пробивались к террасе, а внутри все словно сжалось в комок в ожидании конца этого ужасного похода.

Когда мы очутились под склоном, терпения искать удобного подъема уже не было, и мы штурмовали гору прямо в лоб. Может быть, это и помогло нам унять дрожь. На первой же мало-мальски удобной площадке, кое-как привязав оленей, мы молча кинулись ломать кусты.

Спички мы хранили в непромокаемых пакетах. Но вода капала с рук, и я боялся, что они не зажгутся. Павел Иванович, сидя на снегу, без устали строгал ножом тончайшие стружки. Когда их набралось порядочно, мы склонились сверху, прикрывая от ветра, и я кое-как чиркнул спичкой. Короткой вспышки оказалось достаточно, чтобы стружки запылали. Это уже было переломом к лучшей жизни. Ничего не чувствовавшими руками мы подкладывали дрова еще и еще — так не хотелось отходить от костра, начинать скучную процедуру сушки. Меховая одежда боится сильного жара, и сушить ее приходится «на руках», непрестанно встряхивая и поворачивая. Так мы и простояли у огня до вечера голышом, понемногу надевая подсохшую одежду.

Наши долгие стоянки были полезны оленям: они успевали подкормиться. Впрочем, теперь и правый Павла Ивановича стал ненасытен. Мы несколько раз ощупывали его и единогласно решили, что сил его хватит лишь на день. Мой левый упал утром, часа через два после того, как мы тронулись. Вдруг прямо на ходу ноги у него подогнулись, и, ткнувшись мордой в землю, он свалился. За несколько минут до этого он еще неплохо тянул. Вдвоем с Нивани мы подняли его, распрягли. Он лег тотчас же, как его отпустили. Глаза у него были мутны. Видно, ему было совсем плохо. Ничего не оставалось, как оставить его. Дальше я уже не ехал, а шел рядом с нартой, надеясь, что белый олень ее дотащит до дома. Нам оставалось еще километров пятьдесят. Зимой, с хорошими оленями этого немного и на один день. А в половодье, да с нашими оленями мы рассчитывали добраться дня за два.

На самом деле мы шли целых три. На другой день упал правый олень Нивани. Правда, Павел Иванович пытался вести его, привязав за нартой. Жалко было бросить такого хорошего оленя, но вскоре он совсем обессилел, стал тянуть нарту назад. Мы оставили его на довольно высоком месте и потом еще долго оглядывались, смотрели в бинокль, что он делает. Часа полтора он лежал, потом встал и начал кормиться.

За три дня мы не раз встречали на еще сохранившихся снежных полях следы нарт. Судя по всему, Тначовав с Хоялхотом были более удачливы. Мы нигде не встретили брошенных оленей. Довольно часто мы

останавливались на чаевку. Погода снова наладилась. Светило солнце, а ночью в небе неярко светились звезды. То и дело их закрывали крылья бесчисленных птичьих стай. Их голоса всю ночь доносились до нас сверху.

На третий день, изрядно обессилев, мы наконец выбрались на широкую долину Вывенки. В бинокль мы уже видели силуэты яранг на берегу — стоянку старика Ляляпыргына. Но ходьба по кочковатой, уже слегка пружинившей тундре оказалась еще более мучительной, чем дорога через горы. Олени шли из последних сил, и нам приходилось почти тащить их. В последний раз мы отдыхали уже километрах в трех от стойбища. Казалось, мы никогда не дойдем. Наконец послышался лай собак, из яранги вышел хозяин. Мы видели, как закурился над крышей дымок.

— Уже чай готовят,— с улыбкой сказал Нивани.

Ляляпыргын терпеливо поджидал нас. С понятливостью старого тундровика он взял у нас оленей, торопливо пожал руки и позвал в ярангу.

— Давай, давай скорее. Чай будем пить.

Добравшись до оленьих постелей, мы прежде всего скинули мокрые сапоги, мокрую одежду. Женщины — жена Ляляпыргына и его невестка тотчас же унесли ее сушить, а нам бросили сухую. Потом мы принялись за чай.

Как только на душе отлегло, я спросил, давно ли прошли Тнаковав с Хоялхотом. Ляляпыргын их не видел.

— Не может быть. Ведь мы все время шли по их следам. Да разве сунулись бы мы первыми по ледяному мосту через Ветвей?

— Однако не проходили,— подтвердил Ляляпыргын.

Конечно, о плохом мы с Павлом Ивановичем не думали. Но неделя пути еще была так свежа в памяти, что мы не могли поверить, что тянулись по воображаемому следу, за призраком.

— Но ведь мы сами видели их следы. И у переправы через Ветвей, и на перевале на Тополевую, и дальше.

— Наверное, остались от зимы,— сказал Ляляпыргын,— сейчас все тает, разве разберешь.

Еще часа два мы отдыхали у гостеприимного старика. Вспомнили своих оленей, брошенных в тундре. Все сошлись во мнении, что они уйдут, поправившись, к знакомым летним пастбищам и там прибьются к одному из наших стад.

Потом Ляляпыргын на батах (долбленые лодки) переправил нас через Вывенку. Сложив нарты на берегу и взяв с собой только документы и карабины, мы пешком ушли в поселок.

В конторе меня ждала телеграмма от Тнаковава: «Большая вода заставила повернуть в Ветвей».

Дальше передавались данные сводок, которые он вез с собой.



ЛЕТОВКА

Десятого июля в Хаилино пришло лето. Еще в ложбинах на сопке, что возвышалась над поселком, лежал снег. Еще как следует не оттаяла почва и даже самые смелые огородники не решались приняться за работу. Но уже словно зеленый туман опустился на заросли ивняка по Тылге, всюду начала пробиваться молодая зеленая травка. А главное, повеяло теплом. Может быть, это и пробудило крупных вялых комаров — первых предвестников летних мучений.

Приближение лета уже сказалось и на быте людей в поселке. Одна за другой на окраине начали появляться яранги, рядом с домами — белые полотняные палатки. Людей потянуло на волю, на свежий воздух. Я часто наведывался к женщинам, шившим мне из ровдуги обувь и одежду. Ровдугой называют на Камчатке и Чукотке замшу из продымленной оленьей шкуры. Обычно для ее изготовления используют часть яранг. Длительное дымление дубит кожу, она не коробится и не грубеет после просушки. Каждому пастуху необходимо сшить на лето пять пар плект, рубашку и брюки. Кроме того, нужны летняя легкая меховая шапочка и ылымгын. Из многих бригад уже прибыли посланцы за летней одеждой, лошадьми, продуктами.

Как обычно, мы собрали последнее перед летовкой совещание, чтобы распределить обязанности. Виктор Иванович Пэн — наш главный ветврач, зоотехник Анхани и двое ребят из «Красной яранги» отправлялись в бригады Ветвейского отделения. Другой зоотехник — Тнаковав, двое ребят из «Красной яранги» и я поделили между собой бригады Хаилинского отделения. Я выбрал бригаду Николая Кинина, уже хорошо мне знакомую. Маршрут Кинина проходил между маршрутами других бригад, и это позволяло быстро

вызвать меня в любую из них, возникни в этом необходимость.

Виктор Иванович еще раз напомнил нам о методах лечения копытки (некробациллеза, гнойного заболевания копыт оленя, часто сопровождавшегося поражением легких, кишечника). В этом году совхоз снабдил все бригады большим количеством антибиотиков и инструментов для лечения оленей. Копытка была на Камчатке главным бичом оленеводства. Пастухи рассказывали, что иногда от нее за два-три дня погибало полтабуна. Впоследствии случались такие эпидемии и при мне. Окружное сельхозуправление энергично старалось внедрить в практику совхозов лечение копытки бициллином. Всю зиму и Виктор Иванович, и мы рассказывали пастухам об этом лекарстве, и теперь предстояло применить его на практике.

Вместе со мной в бригаду Кинина собирался Тналхут. Он заранее увел к своей яранге, что стояла в десяти километрах от поселка, белую кобылу Алевтину — она должна была работать все лето в бригаде Кинина, и старик хотел заранее подогнать к ней седло. Алевтина была самой крупной из наших лошадей, и обычные подпруги для нее были малы. Мою же Искру пока не удавалось найти, она ушла куда-то на Вывенку. Поймать ее не могли. Дня через два пришлось попросить Тналхута помочь мне в этом деле.

Прихватив арканы, мы отправились на Вывенку вдвоем. На плохо просохшей почве поймы реки кобыла оставляла глубокие следы, так что обнаружить беглянку было нетрудно. Однако образ действий, который она избрала, чтобы не попасть к нам в руки, был настолько прост и действен, что я почти отчаялся завладеть ею. Подпустив нас метров на сто и удостоверившись, что мы действительно идем к ней, она своей великолепной рысью мчалась на километр вниз по реке. Так повторялось дважды. Тналхут снял малахай и надел его через плечо, как носят сумку. Я уже знал, что это признак его решимости быстро добиться своего. Мы снова подошли к кобыле как можно ближе, причем Тналхут держал аркан наготове. Как только Искра распустила хвост по ветру и бросилась прочь, старик помчался за ней. Такого рывка от него я не ожидал. Метров через пятьсот Тналхут метнул аркан, и Искра, почувствовав на шее петлю, встала как вкопанная.

Я невольно подумал, каким же он был в свои двадцать лет!

Искра выкинула еще один номер. Зная ее бойкий характер, я седлал и взнуздывал, не снимая с нее аркана, чтобы не упустить, если она вырвется из рук. И, памятуя привычку лошадей кусаться при подтягивании подпруги, предусмотрительно замотал повод за столб. Наконец, вскочив в седло, я почувствовал себя вполне готовым к любым каверзам. Однако кобыла вела себя довольно прилично, послушно рысила по улице. Возле школы, где меня могли видеть учительницы, я приосанился. Тотчас Искра остановилась, а я, перелетев через ее голову, оказался на земле. Оставить без внимания такой коварный маневр было нельзя. Искра могла научиться повторять его. Снова вскочив в седло и круто развернувшись, я вернулся назад. Снова мы рысью направились к школе. Теперь я был начеку, держался в седле прочно, а Искру, едва она остановилась, так огрел плетью, что дальше уже она пошла галопом.

С вечера мы стали навьючивать на Искру мой багаж. Тналхут скорбно потыкал носком плекта в увесистые мешки.

— Это еда, старик. Вместе с тобой ее будем есть.

Тналхут наклонил голову набок и успокоенно сказал:

— Тогда ничего. Еда тяжелой не бывает.

Мы переночевали в яранге у Тналхута. Сейчас, когда стало тепло, это было настоящее удовольствие. Дым не скапливался, а сразу поднимался и уходил в отверстие наверху. Комары не залетали, видно, все же запах дыма отгонял их. Жена Тналхута накормила нас вареной олениной, подвяленной до этого на солнце. Мне нравилось такое мясо — плотное и с особым привкусом.

Рано утром Тналхут разбудил меня, и после недолгих сборов мы тронулись в путь. Лошадей вели в поводу. Тропа была мне знакома по прошлому лету. Конечно, я не раз проезжал здесь и зимой, но тогда склоны увалов были покрыты снегом, зализаны пургой. Стланиковые заросли обладают свойством «приседать» под снегом, их заносит «с головой», и зимой не догадаешься, какие мохнатые, как говорят пастухи, здесь горы. Теперь же тропа виляла между зарослями кедро-

вого и ольхового стланика, пробиться через которые с лошадьми напрямик было невозможно.

Потом мы спустились в долину Тылги и пошли по террасе вверх по реке. Идти было весело, легко. Почему-то знакомая дорога кажется короче. Иногда мне надоедало идти вслед за хвостом Алевтины, и я обгонял Тналхута. Старик не возражал, но идти сзади ему явно не нравилось. Минут через пятнадцать я вдруг замечал, что Тналхут спокойненько свернул на другую тропку и удаляется от меня, словно мы незнакомы. Приходилось покориться, следовать за стариком, как за вожаком.

Памятным местом в дороге стала для нас переправа через Тылгу. Она была еще по-весеннему бурной, и мы предусмотрительно взяли с собой надувную резиновую лодку. Перевоз вещей занял не слишком много времени, хотя перед каждой переправой приходилось тащить лодку метров на сто выше по течению, тогда ее сносило как раз к нужному месту. Потом мы взялись переправлять лошадей. Я сел в лодку — все-таки умел плавать и не боялся воды, взял в руки повод Алевтины, а Тналхут стал подгонять ее сзади. Белая громадина уперлась, и никакие крики на нее не действовали. Тогда попробовали завести ее в воду на стремнине, там, где берег полого уходил под воду. Получилось еще хуже. Алевтина держала лодку, словно якорь, вмиг напор воды задрал борт «душегубки» вверх, и она, перевернувшись, накрыла меня с головой. Откровенно сказать, я даже не успел почувствовать, холодна ли вода,— настолько быстро выскочил на берег. Лодку, к счастью, мы поймали на следующем перекате. Поразмыслив, мы переплыли к своим вещам пить чай и сушиться. Лошади остались непривязанные на берегу, щипали реденькую зеленую травку, посматривали на нас. Вдруг Алевтина заржала, порыскала по берегу, а потом преспокойно вошла в воду и поплыла к нам. За ней послушно следовала Искра. Нам оставалось только поймать лошадей, когда они выходили из воды.

После трех дней пути мы нагнали бригаду Долганского. Палатки стояли под перевалом, а олени уже были на другом склоне, спускались к реке. Переправа через Пылговаям была возможна только в одном месте, и сюда стягивались табуны Долганского, Кинина и Пети Лялянского. Иван Петрович хитровато сощурил-

ся, узнав, что мы ищем табун Кинина, и пояснил, что Николай согласился пропустить его вперед. Это было не совсем справедливо, потому что Кинину предстояла более дальняя дорога к морю, но Долганский воспользовался авторитетом старшего.

Мы переночевали в бригаде. Рано утром пастухи привели два десятка оленей и навьючили их. Бригаде Долганского приходилось обходиться без лошади — ее еще не привели из Хаилино. Вьючка оленей была знакома бригадиру с детства. Когда-то эвены кочевали только верхом на оленях, возили на них груз вьюком. Нарт они не знали, а лошадей не имели. Наблюдая, как лихо села на переднего оленя Наталья — жена Долганского — и повела караван вперед, я спросил у бригадира, не лучше ли кочевать на оленях.

— Сейчас можно. Когда комар поднимется, будет плохо: олени бьются, не стоят. С лошадью совсем легко,— отвечал бывалый тундровик.

Мы разошлись в разные стороны не прощаясь, как это принято у пастухов. Переваливая из одной узкой долинки в другую, мы направились вдоль водораздельного хребта на север, туда, где был табун Кинина. По дну долинок бежали мутные бурные ручьи, они несли воду от таявших снежников в Тылгу. Еще сохранились довольно большие снежные поля. Местами они закрывали ручьи, и вода бежала в снежных туннелях. Уже после полудня мы наткнулись на след прошедшего недавно табуна. Еще часа через два догнали Кинина и Гиклава. Несколько минут постояли, обменялись новостями, потом Кинин, как бы извиняясь, сказал:

— Надо идти, Леня. Видишь — табун торопится.

Тналхут, забрав с собой лошадей, ушел вперед. Николай объяснил ему, где стоят палатки, а я пошел с табуном. Через полчаса бригадир послал Гиклава придержать оленей спереди, он собирался вскоре остановить табун на отдых. Я хотел было подогнать отстававших оленей, но Кинин сказал:

— Пусть идут потихоньку. Как раз телята и матери найдут друг друга, матери покормят их, тогда и стадо будет спокойно стоять.

Действительно, то тут, то там можно было видеть оленух, кормящих своих телят. Некоторые важенки, ушедшие с передней частью табуна, вернулись и искали отставших телят. Любопытно было наблюдать, как

они перекликивались. Оленятам было уже месяца по полтора, и матери хорошо отличали их по голосу и внешнему облику. Все же некоторые из них пробовали сосать и чужих важенок, уже кормивших своих оленят. Пристраивались с другого бока и сосали, пока важенки не замечали воришку. Наконец суета немного улеглась, и мы загнали табун на снег. Потом Гиклав стал придерживать табун, ходить вокруг, загоняя оленей в глубь стада, а мы с Николаем быстро наладили чаевку. Поставить таган, зажечь костер, вскипятить чай — все это было делом двадцати минут. Пришел Гиклав, и мы принялись за чай. Гиклав вытащил из котомки, которую носил с собой, блюдечко и пил из него чай, держа на кончиках пальцев. Видно было, что это доставляет ему удовольствие.

Олени стояли на снегу довольно спокойно. Уставшие телята легли. Но отдых продолжался недолго: двухлетки, холостые важенки, ездовые быки все настойчивее пытались отойти в сторонку, начать кормиться. Пастухи возвращали их — еще не успели отдохнуть оленята. Минут через пятьдесят (я обратил внимание, что Кинин все время поглядывал на часы) табун отпустили на кормежку. Все шло более или менее спокойно, но едва мы удалились от стоянки метров на двести, как телята дружно побежали назад, потому что привыкли искать матерей в месте последнего кормления. Туда же спешили важенки. Пока они разыскивали своих малышей, пока уводили их к табуну, прошло довольно много времени. Многие телята, матери которых не вернулись, никак не хотели уходить со старого места. Гнать их вперед было трудно. Оленята не понимали, что нужно бежать от человека. Они глядели своими выпуклыми, матовыми глазками и прорывались туда, куда, по их расчетам, должна была прийти мать. Часа через полтора или даже меньше после начала пастьбы Кинин снова остановил табун на отдых.

— Почему так часто? — спросил я.— Как ты определяешь, что уже наелись?

— А олени не наелись. Сейчас главное — как телята. Они быстро устают. Надо на них смотреть. Как начали ложиться — останавливаю табун на отдых.

Взрослые олени еще жадно хватали зеленые листочки ив, а мы уже криком и взмахами рук собирали их на нерастаявшем снегу. Оказавшись в плотной массе,

олени постепенно успокаивались, на них нападала сонливость. Вскоре вся рогатая компания двигала нижними челюстями, пережевывала жвачку.

Забегая вперед, я поясню, что́ заставляет пастухов довольно жестко регулировать ритм пастьбы оленей. В природе табуны диких оленей весной делятся. Самцы и подросший молодняк уходят вперед — на север или к морю, а самки отстают, телятся и потом, объединившись в стада, тоже уходят на север. Первые недели важенки не покидают оленят, но потом голод пересиливает, да и оленята подрастают, и важенки отходят от них подальше, иной раз на несколько километров, а оленята тихо лежат где-нибудь в кустах, дожидаясь возвращения матерей. Так что никто друг другу не мешает, у каждого свой ритм жизни.

Человек объединяет оленей всех возрастов вместе. Если распустить их по тундре, то потеряешь возможность управлять ими, многих оленей потом не найдешь. Правда, вольный выпас летом все же используется в тайге, где олени живут оседло, откочевывают недалеко — на вершины гольцов. Но в тундре, где стада уходят весной на многие сотни километров к северу, этот способ себя не оправдывает. Поэтому приходится пасти большой табун, волей-неволей удерживая вместе и важенок с телятами, и быков, и годовалых животных. Из-за этого быки и молодняк не могут часто менять пастбища и пастись столько времени, сколько им необходимо. Телятам приходится поторапливаться, они устают, не успевают насытиться. Важенки часто теряют среди большого стада своих телят и, обеспокоенные, прекратив кормежку, ищут их. Много трудностей и у оленей и у пастухов возникает из-за того, что разные возрастные группы животных собраны в одном стаде. Тем не менее необходимо так кормить оленей, чтобы им хватило запасов жира и других веществ на всю зиму. В связи с этим и возникла довольно сложная народная школа нагула оленей. За сотни лет пастьбы люди так научились регулировать ритм жизни оленей, что вред от совместного содержания разных по потребностям оленей уменьшился.

В начале лета пастух ориентируется по оленятам. Как только они подрастут, внимание пастухов переключается на важенок и быков. Ведь быков нужно подготовить к гону, а важенки помимо того, что нагуливают жир для себя, еще и кормят оленят. Меньше всего летом обращают внимание на молодняк — одно-двухлетних оленей. Эти всегда впереди, всегда торопятся к еще нетронутому корму на новых пастбищах.

Большую бригадную палатку мы заметили издали. Ее поставили, как обычно, на высоком месте, откуда далеко видно вокруг. Рядом с ней белела еще одна маленькая. Она предназначалась для Феди Илькани и Сергея Тынетегина. Возле большой палатки горел костер, на таганах были подвешены котелки, оттуда торчали косточки. «Ирина», хлопотавшая у костра, весело приветствовала меня.

Я затащил в большую палатку одеяло. Кинин выделил мне оленью шкурку на подстилку, показал место, где лечь. Внутри большой палатки была натянута маленькая — для Николая и Кечигвантин. Я расположился рядом с ней, в противоположном конце палатки — Тналхут и Гиклав. Оставшийся между нашими шкурками свободный пятачок мы использовали для еды и чаепитий в те дни, когда шел дождь.

Меня всегда удивляло чувство дома, которое испытываешь на стоянке бригады. Когда мокрый, голодный и усталый идешь к белеющей вдалеке палатке, она кажется самым прекрасным местом на свете. То, что лагерь ежедневно переезжает, не имеет значения. Внутри него, а тем более внутри палаток все остается по-прежнему. И может быть, поэтому лагерь кажется единственно неизменным в кочевой жизни пастухов.

Палатки переносили на новое место ночные дежурные — Илькани и Сергей. Вернувшись утром из табуна, они наскоро ели, пили чай, увязывали все вещи в тюки, седлали коней, и вскоре мы видели караван, уходящий на два десятка километров вперед, на заранее намеченное место. Тналхут в зависимости от обстоятельств или помогал в стаде, или кочевал вместе с лагерем. На новом месте Федя прежде всего втыкал на видном месте копье с развевающимся красным бунчуком из нерпичьей шерсти. Копий в бригаде было три, с ними удобно ходить в тундре: есть на что опереться при переправе через каменистую быструю речку, можно заколоть рыбку, близко подошедшую к берегу, убить оленя, когда кончается мясо. Наконец, и как оружие копье может сослужить неплохую службу. Медведи

хотя и редко нападают на людей, однако и такое случается.

В нескольких метрах от копья дежурные втыкали таганы — обязательно свободными концами в ту сторону, куда собираемся кочевать. Еще дальше за таганами ставили палатки, тоже с наветренной стороны, чтобы искры от костра не попадали на полотнище. Лошадей мы обычно не привязывали. Мудрая Алевтина не уходила далеко, а Искра была неразлучна со своей подругой. Конечно, каждый из нас при случае поглядывал, где лошади, а если была необходимость, возвращал их поближе к лагерю.

На следующий день мы направили табун к переправе. На резиновой лодке перевезли груз, перегнали лошадей, а потом принялись за табун. Страшась быстрой и глубокой реки, олени сгрудились в большой, крутящийся на месте клубок. Пастухи махали арканами, кричали, стремясь пересилить шум реки. Временами уже весь табун оказывался на мелководье, взбитая тысячами ног вода кипела вокруг него, и все же на глубину олени не шли. Боясь потопить в сутолоке телят, мы каждый раз отступали, позволяли оленям снова выйти на сушу, немного успокоиться. Приехал Долганский, постоял, посмотрел и сказал, что лучше табун еще покормить вдоль берега.

Кинин и Гиклав угнали оленей на выпас, а мы с Иваном Петровичем остались сидеть на берегу. Он жаловался, что у бригады мало продуктов. Та же беда была и у нас. На лошадях и на оленях бригады могли унести с собой килограммов сто муки, сахара, сухарей, крупы, масла. Для шести-семи человек этого хватало на месяц-полтора, и то при условии, что каждые четыре-пять дней забивали оленя. Здесь, на перевале, где в начале и в конце лета проходят три бригады, было бы очень удобно построить склад, поднять его на столбах повыше от земли, чтобы не забирались росомахи и медведи. Решили, что зимой обязательно попробуем завезти сюда продукты на тракторах. Это намерение удалось осуществить. Следующим мартом два трактора — один пробивал дорогу в снегу, а другой тащил сани — действительно доставили на Пылгу продовольствие.

Кинин снова подогнал табун к переправе. Долганский пошел ему навстречу. Старый мастер задумал за-

гнать табун в реку с хода, в том же строю, как олени паслись. Важно было не дать табуну закрутиться в клубок. Основная масса старых оленей, способных возглавить табун, находится в задней части. Бригадиры надеялись, что, выйдя к реке, передняя часть начнет растекаться в обе стороны вдоль берега, как это обычно бывает, когда табун натыкается на препятствие или опасность. Задняя часть выйдет вперед и поведет остальных в воду. Главное было проделать все спокойно, чтобы передние олени пошли не в глубь стада, как это бывает при испуге, а в стороны. Кинин подгонял табун очень неспешно, а когда тот уперся в реку, совсем притих. Часть оленей начала пить, другие принялись объедать прибрежную зелень. Постепенно вперед выдвинулись отставшие из-за телят важенки, над водой замаячили мохнатые рога ездовых быков. Тотчас Кинин и Долганский усилили нажим. Наступила критическая минута. Очень важно было соблюсти меру — и толкать табун вперед, и не спугнуть его. Пастухи управляли оленями, словно дирижеры оркестром. Изумительна была их способность одновременно подмечать возбужденность отдельных оленей и состояние табуна в целом. Наконец одна из важенок вдруг зашла в воду и поплыла. Тотчас за ней потекла и остальная масса оленей. Это было удивительное зрелище! Реку пересекала сплошная стена рогов. Мы смотрели на оленей сзади и невольно обращали внимание на то, что все они задрали вверх свои коротенькие хвостики, белые нижние поверхности которых, словно платочки, трепетали над серой неспокойной водой. Зоологи называют поднятый хвост «флажком». Считается, что он помогает при ориентировке следующим сзади животным.

Мы распрощались с Долганским. Условились, что в случае появления в его табуне копытки или какой-нибудь другой беды он пришлет за мной гонца. От переправы наши пути расходились. Долганский направлялся к памятной мне по прошлому году бухте Сомнения, а наш путь лежал севернее, на реку Имку.

Днем работали Кинин и Гиклав. Обычно и я ходил с ними. Находясь в табуне, я неотступно следовал за Николаем и Гиклавом. Так, цепочкой, словно привязанные, мы меньше пугали оленей, да и Кинину не приходилось кричать или махать руками, когда мы должны были помочь. Табун зачастую пасся по доли-

нам, густо поросшим ивняком, с многочисленными ручьями и озерцами. Забравшись на какую-нибудь кочку или на куст, Николай следил за движением оленей, при необходимости посылал одного из нас подтолкнуть отставших оленей, придержать стадо спереди, с того или другого края.

За сутки табун проходил по двадцати километров и более, но эти темпы не очень радовали Николая. Мне была понятна его тревога. Из глубины материка до нас доносилось теплое дыхание лета. Я видел это по тому, что появлялись новые цветы, все реже встречались снежники, все сильнее мучил и оленей, и людей гнус. Когда мы прощались с Долганским на Пылге, только-только начали зацветать ива, лапчатка, герань. Выше в горах нас уже догнало цветение полыни, гречишника, анемонов. Очень тревожила бурная линька оленей. На них страшно было смотреть — так уродовали их клочья старой зимней шерсти, свисавшие с боков. У некоторых даже не успела подрасти новая темная летняя шерсть и проглядывала голая кожа.

Я знал от ветеринарных врачей, что копытка чаще всего вспыхивает в период линьки. В открытые каналы волосяных луковиц на ногах легко проникают палочки некробациллеза, в обилии рассеянные в почве. Во время отдыха стада Кинин часто рассказывал мне о том, что способствует возникновению копытки. Удивляло, что такой молодой еще оленевод столько знает. Впрочем, работал он с оленями с четырнадцати лет, начинал подпаском. Любознательный, любящий свое дело парень наматывал на ус все, что слышал и от стариков, и от зоотехников.

Николай старательно обходил места, где было много острых камней, никогда не повторял выпаса на одном и том же месте. Объяснял, что прутики ивы, общипанные оленями, очень остры и оставляют на копытах много царапин. Боялся он вязких глинистых мест, особенно там, где глина была красного цвета. Не знаю, имело ли это значение, но после таких участков Коля обязательно ставил табун на отдых в воду, на отмель реки или ручья. «Чтобы промыть копыта оленям»,— говорил он. От старых оленеводов он усвоил множество подобных приемов предупреждения копытки. Опытные ветврачи, которым я рассказывал об этом впоследствии, только пожимали плечами: значительная часть

народного опыта еще ждет своего научного истолкования. Частой причиной испуга бывал у нас Одноглазый. Обычно телят-уродцев убивают. Но этого Кинин пожалел. Он родился с одним глазом, который немного съехал вперед, почти на нос, так что заменял пару. Кроме того, теленок обычно ходил, немного повернув голову набок. Мать у него была неважная, все время торопилась вперед и редко вспоминала о сыне. Однако тот с первых дней жизни проявлял необыкновенную сообразительность. Он зорко следил за оленятами и более заботливыми мамами и успевал вместе с ними пососать, не обижаясь на пинки сердитых важенок. Рос он плохо, часто отставал от табуна, а потом с громким криком догонял. Это пугало оленей, некоторые шарахались в сторону, убегали.

В начале июля Одноглазый устроил в табуне настоящую панику. Он снова где-то задержался, а потом с криком, очень бойко начал догонять. Я с Гиклавом был спереди, когда стадо словно толкнул кто-то и мимо нас хлынули в испуге олени. Первый рывок обычно быстро гаснет, но на этот раз оленей кто-то подгонял. Уже не надеясь навести порядок, я стал пробиваться сквозь табун навстречу невидимому врагу. И вдруг увидел Одноглазого. Бедняга старался догнать стадо, а олени с удвоенной скоростью неслись прочь от него. После этого случая Тналхут часто повторял: «Напрасно так. Лучше убить. Может табун когда-нибудь испортить».

В жаркие дни мы старались кормить стадо очень осторожно. И свистишь понежнее, и кричишь потише. Все же нет-нет, да случится неприятность. Сидим мы втроем возле озера. Гиклав откинулся на спину, задремал. И стадо, чувствуя холодок от воды, успокоилось, большей частью лежит. Вправо-влево ходят у оленей нижние челюсти, перетирают жвачку. Вдруг три утки поднялись с озера. Что только их напугало? Фрррррррр... Словно сама смерть встала перед глупыми животными и дунула на них. Прямо через костер, заложив рога за спину, все две с половиной тысячи оленей кинулись прочь. Хоть кричи, хоть плачь.

Николай помчался за стадом. Мне махнул рукой, чтобы бежал вдоль озера — откуда ветер, все равно к нему придет табун. Уже издали я видел, как замешкавшийся Гиклав собирает наши кружки в мешок: он уже

ничем не мог нам помочь. Потребовалось полчаса, чтобы успокоилось стадо.

— Отчего так пугливо стадо? — спросил я Николая вечером.

— Ресницы у оленей в это время сильно отрастают. Видят плохо,— ответил Кинин.— Каждый кустик чертом кажется.

Десятого июля мы миновали перевал и по узким каньонам пошли вниз к морю мимо нависших скал, мимо последних снежников, от которых веяло прохладой. На второй день мелкие ручейки стали сходиться вместе, как раз и горы расступились, образуя широкую зеленую долину, по которой извивалась Имка. Если смотреть со склона, то в нехитрой вязи основного русла реки и подходивших со всех сторон притоков можно легко разобраться. Но, спустившись в долину, оказавшись среди довольно высоких ивняковых зарослей, множества стариц и проток, я тотчас терял ориентировку, то и дело забирался на куст, чтобы увидеть горы и представить себе, где я нахожусь.

Пастухи постепенно направляли стадо к морю, двигали его челноком, стараясь использовать все зеленое богатство долины. Снежников уже не было, и оленей обычно ставили на отдых на мелководье реки. Мы по-прежнему день за днем шли за табуном. Но я уже знал со слов Кинина, что это непрерывное движение было следствием нашего невысокого мастерства. Николай с почтением отзывался об отце Тынетегина, который когда-то пас совхозный табун по тому же маршруту. Он умел точно предсказывать, куда будет двигаться масса оленей, один-два раза в час вмешивался в их пастьбу — подгонял с одной или другой стороны, а остальное время спокойненько пил чай на бугорке, в то время как олени паслись как будто без всякого надзора в кустах. Увы, молодые пастухи пока еще не достигли такого мастерства.

Пастьба и отдых теперь длились немного больше, чем раньше, и все же было заметно, что олени хотели бы кормиться подольше. Каждый раз приходилось их силой затабунивать, не давать расходиться. Как объяснял Николай, молодую зелень олени готовы есть без конца, и гораздо больше прока бывает, если они ее дольше пережевывают, а не набивают живот сверх всякой меры. Лишь к концу июля время пастьбы и отдыха увеличилось и стало примерно равным — по два с половиной часа.

За три года на Камчатке я смог изучить работу многих известных пастухов-нагульщиков и убедился, что в общем-то существуют два основных метода. Одни пастухи стараются подольше кормить оленей, а другие большую часть времени заставляют оленей простаивать, пережевывать. И лучших успехов все-таки добивались те, которые говорили о своем методе: «Чем больше летом чаюешь, тем жирнее олени к зиме». Если олени сохраняют жирок еще с прошлого года, то их специально держат без воды, гоняют, чтобы этот жир рассосался. Жир, оставшийся с зимы, хорошо отличается от нового, только что нагуленного. Последний — плотный, с красными прожилками кровеносных сосудов. В нем больше витаминов, которые оленю неоткуда взять зимой.

Кстати, летом в организме оленей образуется мало жира. Питание молодой зеленью дает белки, соли, витамины, но жир в основном образуется из углеводов, которые как раз содержатся в большом количестве в ягеле. Когда поздней осенью увянут последние травы, опадут листья и олени перейдут на питание ягелем, они начинают быстро жиреть. Однако осенний нагул зависит от того, насколько хорошо кормили пастухи оленей летом. И даже стремление есть грибы, в которых содержится много белка, опытные оленеводы связывают с результатами работы нагульщика летом. Если животные не запаслись летом белками и витаминами, то осенью они неудержимы в стремлении найти грибы, бегут за ними, почуяв за несколько километров. Они словно чувствуют, что недобрали за лето белка и не смогут пережить зиму.

Пастьба в долине Имки скоро мне до смерти надоела. Воздух среди кустов не колышется, и в душной атмосфере в своих замшевых одеждах мы обливались по́том. Да и комара здесь было много. Все ходили не поднимая сеток, иногда даже чай пили сквозь накомарник. Непременной деталью нашего быта стали дымокуры. Мы разводили их и для себя, и для оленей, и для лошадей. Сначала приходилось запалить костерок, бросить в него зеленые ветки, а потом уже переходить к обдумыванию насущных проблем.

Жара и гнус заставляли оленей собираться в плотную массу на долгие часы. Так им было спокойнее, потому что комары летят, ориентируясь по запаху, нападают на первых встречных животных и в глубь массы оленей почти не проникают. Но позволить стаду без конца кружиться на одном месте мы не могли. Очень скоро олени сбивали копытами листья с кустов, и острые сучки могли поранить им ноги. Мы сгоняли табун с места, он начинал расходиться в наветренную сторону. Но вскоре массы голодных комаров и оводов облепляли передних оленей, заставляли их обратиться вспять. Табун снова закручивался на месте.

В один из таких дней пастухи не могли согнать табун с места часа три. Кинин стоял с наветренной стороны, стараясь притормозить оленей, круживших вокруг основного ядра стада, и направить их на новое место выпаса, а Гиклав и Тналхут подгоняли табун с другой стороны. Я понимал, что они действуют неверно, просто повторяют пастушеский прием, видимо не зная особенностей поведения оленей, на которых этот прием основан. По внешнему кругу стада ходил в основном молодняк. Олени постарше забились вглубь, туда, где не так надоедал гнус. Потому-то Кинину и не удавалось заставить какого-нибудь оленя повести за собой стадо.

Поначалу мне неудобно было вмешиваться. Но когда пастухи уже устали и были готовы на все, лишь бы сдвинуть табун вперед, я попросил Тналхута дать мне попробовать. Вытянув руку вперед, я немножко углубился в стадо. Олени расступились, и я, вращая руками, направлял их по кругу к Кинину. Теперь на внешнем круге оказались уже и важенки, и старые ездовые олени, способные стать вожаками. Действительно, скоро Кинину удалось вытянуть из клубка «конец ниточки», и она быстро потянулась от нас на ветер.

— Уже умеешь,— сухо сказал мне старик. Это было давно, но похвалу я хорошо помню.

На другой день мы обнаружили, что ночью где-то потерялось голов двадцать оленей. Между прочим, исчез и Одноглазый, доставлявший нам много хлопот. Тналхут с Гиклавом отправились на поиски, а мы с Николаем подняли табун на террасу с куртинами ольхи, слегка возвышавшуюся над долиной Пылги. Олени любят ольховые листья. Солнце уже стояло невысоко,

мы крепко устали и с нетерпением ждали ночную смену. Наконец она показалась у излучины реки. Коля спросил меня:

— Кто это идет сзади?

Пока я доставал бинокль, он добавил:

— Кажется, собака.

Это оказался медведь. Он был не так уж близко от ребят, но то, что он шел по их следу, не оставляло сомнения. Мы продолжали следить за зверем. Я не отрывался от бинокля. В тревожные минуты хочется видеть самому, как развертываются события.

— Давай поставим маяк,— предложил Кинин. Наскоро я срубил ножом стволик ольхи и поднял на нем кухлянку. Это сразу подействовало. Ребята, конечно, видели стадо и поняли, что мы подняли знак не для того, чтобы показать им дорогу. Они свернули от реки в сторону и стали подниматься по склону террасы. С середины подъема они огляделись. Потом Тынетегин побежал, пригибаясь, по склону. Быть может, хотел подстеречь зверя, вышедшего на человеческий след.

— Медведь повернул,— сказал Кинин.

Я нашел биноклем медведя — он быстро уходил к реке и скоро исчез за кустами.

Тналхут с Гиклавом вернулись с поисков на другой день. Часть оленей они нашли, но нескольких задрал медведь. Не было и Одноглазого. Вечером, уже в сумерках мы сидели у костра. Лагерь располагался на террасе, и широкая долина Имки хорошо просматривалась. Нам оставался один переход до моря, уже ощущалось дыхание вечернего бриза. Вдруг Тналхут сказал:

— Там что? Может, медведь? — Старик обладал завидным зрением. Действительно, в полукилометре от нас старицу переплывал медведь. Схватив карабины, мы с Тынетегиным побежали к нему. Зверь вылез из воды и пошел нам навстречу.

— Лучше сядем, он сам придет,— сказал Сергей.

Мы плюхнулись на траву, быстро установили сошки карабинов и дослали патрон. Между нами и зверем было еще одно озерцо. Ждали, когда он переправится к нам. В быстро сгущавшихся сумерках очертания предметов были неясными, и мы боялись промахнуться. Мы выстрелили одновременно и после этого стреляли еще и еще. Встретив первые две пули, зверь прыгнул в сторону, бросился бежать. У него хватило сил

переплыть озерцо и выбраться на противоположный берег. Там он и затих. Вокруг была уже ночь. Мы вернулись к палаткам и только утром пошли за медведем. Шкура у него была неважной, но мясо его после надоевшей оленины мы ели с удовольствием.

В последний день перед выходом к Берингову морю я кочевал с вьючным караваном. Вел его Тналхут, хорошо знавший эти места. Когда-то он держал здесь свой табун, где-то здесь родился и Кинин. До последней минуты моря не было видно — его закрывал высокий прибрежный вал из песка. Палатки решили ставить на небольшом увале. Развьючив лошадей, мы пустили их пастись, а сами почти бегом бросились на берег. Я испытал ни с чем не сравнимое чувство радости, когда, взбежав на прибрежный вал, вдруг увидел необъятное, синевато-серое море.

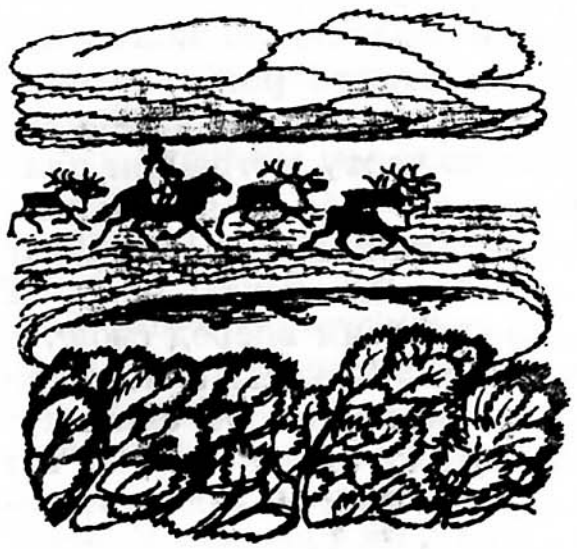
Мы разбрелись в разные стороны, почему-то всем хотелось побыть в одиночестве. Тналхут, так тот просто уселся на большой стеклянный шар-поплавок и неподвижно сидел на нем. Илькани с Тынетегиным пошли к устью Имки, а я направился в другую сторону.

На берегу валялись самые различные предметы. С частотой примерно один на десять метров вдоль прибойной полосы были разбросаны апельсины. Ярко-оранжевые, они, словно огоньки, светились на сером песке, насколько мог видеть глаз. По-видимому, шторм смыл с палубы какого-то корабля несколько ящиков апельсинов и аккуратно разложил их вдоль берега. Там, где к апельсину прикрепляется стебелек, морская вода сумела проникнуть вглубь. Но если вырезать горькую часть ножом, остальное можно было есть. Вечером я насобирал больше полмешка апельсинов. Мы нашли еще две бочки селедки. На них было крупно выведено: «Олюторский рыбокомбинат». Следовательно, их смыло с недалекой от нас рыбообрабатывающей базы комбината. Нашлись также коробки с галетами, несколько головок лука. Вдоль берега валялось множество стеклянных и пенопластовых поплавков, бутылок с разноцветными этикетками, деревянные сандалии японских рыбаков, рваные резиновые сапоги и вообще всякий хлам, случайно и не случайно оказавшийся в воде.

Выход к морю мы отпраздновали. Кинин устроил «оленьи» бега. В качестве приза он назначил своего собственного олененка. «Ирина» приготовила его модель — набила мясом и жиром маленькую колбаску, прикрепила к ней две веточки вместо рогов, ягодки шикши — вместо глаз. «Оленя» положили на камешек, и Кинин провел от него круговую черту метра три длиной. Потом каждый из нас вырезал себе по небольшой палочке, пометили их зарубками (каждый по-своему), и Кинин начал бега: укладывал вдоль черты одну за другой наши палочки, потом переносил вперед свою, а за ней в том же порядке — наши. Все мы с нетерпением ждали, чья палочка первой придет к финишу. И неожиданно бега выиграл я. Даже стало стыдно, что поленился как следует обстругать своего «оленя», который принес мне победу.

Замечательным был тот вечер. Бриз отгонял комаров. Можно было впервые за много дней свободно расположиться у костра, раскинуть руки, посмотреть на небо, на звезды. Где-то у реки свистели пастухи из ночной смены — видно, собирали табун на отдых. А у костра было тихо. Даже говорливая «Ирина» примолкла, облокотилась на лежавшего рядом Кинина, смотрела на огонь. И вдруг я подумал, что не скучаю уже о доме, о крыше над головой, даже о книгах. Охвативший нас со всех сторон мир — небо, море, тундра — давал такой простор фантазии, столько рождал впечатлений, что душа насытилась и была спокойна. Вероятно, так в единении с природой и обретают люди покой.

Утром я почувствовал себя совсем по-другому. Простор моря и земли звали вперед, в путь.



ПАСТУХИ В РОЛИ ДОКТОРА АЙБОЛИТА

Еще по пути на Имку мы наткнулись на железную бочку с дверцей, как у печки. Понятно, что такой удивительный предмет, невесть откуда взявшийся в безлюдной горной долине, нас заинтересовал. Мы решили, что ее бросили с самолета для геологов. Размотать проволоку, которой была накрепко прикручена дверца, мы не решились и честно пошли дальше. Через полтора месяца, возвращаясь на осенние пастбища, мы оказались поблизости от бочки. Она лежала точно так же, разве что заржавела от людского невнимания. К тому времени мы уже не только забыли вкус хлеба и лепешек, но и давно закончили муку, которую Кечигвантин пережаривала с оленьим жиром и выдавала по столовой ложке на кружку кипятка. Конечно, не было ни сахара, ни крупы. Интерес к бочке разгорелся необычайно.

Все же мы подождали еще два дня, осмотрели, пока пасли табун, все близлежащие горы и долины. Никого не было, и я как старший по рангу объявил, что бочку необходимо обследовать. Мы вскрыли ее. Там была и мука, и сахар, и крупа, и даже банка сухого молока. Взять все продукты мы не решились, но все же изрядно облегчили этот склад. Вечером у костра мы слушали, как кипят лепешки, вдыхали их аромат и готовили себя к пиршеству. И тогда явился злой вестник и все испортил.

К костру с копьем в руках подошел Иван Вувун, сбросил на землю небольшой тючок, который нес на плечах, воткнул рядом копье, сел, отдуваясь и легонько посвистывая, как это принято у чукчей, чтобы поскорее успокоить дыхание.

— Быстро шел, боялся, что костер погаснет, не будет видно вас.

Путника напоили чаем, угостили горячей лепешкой,

потом приступили к расспросам. Как выяснилось, у Лялянского вспыхнула копытка и он послал Ивана за мной. Вувун нашел нас довольно легко. Как и все пастухи в совхозе, он знал примерный маршрут табунов, а уж найти нашу дорогу для бывалого оленевода не представляло труда. Распутывая следы, чтобы понять, куда мы направляли табун, Иван не заметил сначала двух бородатых людей.

— Идут прямо ко мне. Я немного испугался, не знаю, что делать, сел на землю, вроде переобуваюсь. Потом подошли, поздоровались за руку и спрашивают, не видел ли я поблизости железной бочки с продуктами.

Все мы прекратили жевать, словно наткнулись в горячем теле лепешки на что-то колючее.

— Где же они стоят? — спросил я Вувуна.

Иван махнул рукой на соседнюю речку.

С геологами жили мы всегда дружно. Они охотно снабжали пастухов, оказавшихся неподалеку от экспедиционной базы, если могли, продуктами и папиросами. Не раз и мы выручали поисковые партии из беды. К нам приходили телеграммы с просьбой срочно помочь продуктами или вывезти отрезанный снегом или непогодой отряд из тундры. Однажды я побывал у таких попавших в беду людей. Они три недели ждали вертолет, не имели ни еды, ни курева. Мы подошли к палаткам, поздоровались и были удивлены тихим голосам внешне здоровых мужчин. Один из них хотел развести костер, и я увидел, что он с усилием несет нетолстый стволик ольхи. Вероятно, сами они еще не замечали, насколько ослабли, но новому человеку это бросалось в глаза.

Легко понять, как огорчились мы, узнав, что едва не подвели геологов. Думали, что подобрали забытое или брошенное, никому не нужное, а на самом деле чуть не лишили их базы с продовольствием. Рано утром мы забили оленя, положили в мешок изрядное количество мяса, взяли с собой позаимствованные продукты и повезли к геологам. Их оказалось всего трое. Товарищи были несказанно рады такому повороту событий. Только что не было ничего — они не могли найти бочку, сброшенную еще весной где-то в этом районе, а теперь и она нашлась, и мясо привезли. Прегрешение было быстро прощено, ребята даже поделились мукой. Потом

мы с Вувуном, ведя в поводу Искру, отправились дальше.

Мы переночевали на высоком берегу горного озера. Иван наловил рыбки, а я искупался. На дне озера сохранялся лед, но верхний слой воды был теплым, и я, на удивление Вувуна, довольно долго плавал. Как оказалось, это был последний летний вечер. Ночью похолодало, и наутро, выбравшись из палатки, мы увидели, что все вокруг в инее: и зеленая трава, и листья на кустах, и даже ярко-розовые кисти цветов иван-чая. Это было пятого августа — время первых заморозков на Северной Камчатке. С этого времени тундра начинает краснеть, исчезает комар, лопается кожа на рогах оленей. Приближается осень.

К вечеру мы были у Долганского. Старый бригадир до поздней ночи рассказывал мне о пройденном за лето пути. Неподалеку от бухты Сомнения в табуне вспыхнула копытка. В жаркий день пастухи не удержали табун, он быстро пошел навстречу ветру. К несчастью, на пути оленей оказался высокий обрыв, и они один за другим «посыпались» вниз по каменистой осыпи. Иван Петрович сумел найти какие-то очень выразительные слова, и я хорошо представлял себе, с какой тревогой он ждал два дня результатов этого происшествия. Стояли жаркие дни, донимал гнус. Олени плохо себя чувствовали. Вокруг ни кусочка снега, который ненадолго дал бы им желанную прохладу. Часов в шесть вечера дневные дежурные заметили сразу нескольких отстававших оленей. К ночи их стало десятка два. У некоторых ноги уже распухли, копыто стало как чайник. Всю ночь Долганский держал табун в проточной воде на речной отмели. Утром, когда отпустили табун на выпас, новых заболевших оленей не было. И тогда старый бригадир решился на смелый шаг. Из малокалиберной винтовки он перестрелял заболевших оленей и угнал табун прочь.

Два десятка оленей — это незначительная потеря для совхоза, когда речь идет о предотвращении большого падежа. Даже по плану предусматривается потеря сотни-полторы животных в каждом табуне. Мог ли я упрекать старого бригадира, что он не попытался сохранить заболевших оленей, не попробовал их лечить. Фельдшер из «Красной яранги» Толя Ивикьяв, который кочевал вместе с бригадой все лето, конечно, тоже це-

ликом доверился опыту Долганского. Я думал о предстоящей работе у Лялянского. Там больных оленей, по словам Вувуна, было много больше. Пожертвовать ими нечего было и думать.

Мы добрались до Лялянского на пятый день после выхода от Кинина. Задолго до того, как догнали табун, мы встретили отставшего оленя.

— Погоним? — спросил я у Вувуна.

— Не пойдет, копытка,— ответил он.

Я подошел к оленю. Он тяжело поднялся на ноги и захромал прочь. На задней ноге у него была обнажена кость, мясо, кожа и роговой чехлик копыта отвалились. Здесь уже нужна была ампутация, но что бы мы стали делать с трехногим инвалидом в тундре? Вскоре мы заметили еще одного больного оленя, а потом уже по отставшим животным можно было проследить путь табуна. На дороге нам попалась недавняя стоянка бригады. Там валялись ободранные туши нескольких оленей. С болью я смотрел на все это: ведь здесь, в тундре, погибали олени, которых мы осенью отбили в табун Лялянского для нагула. Он, мастер пастушеского дела, должен был превратить их в откормленных красавцев и такими привести на забойный пункт в Корф.

В первые часы по приходу в бригаду я расспрашивал пастухов о новостях в Хаилино, где недавно побывал Эвгур. Он привез продукты, а для меня письма. В поселке мы жили рядом, и Эвгур знал, как жду я этих весточек из Москвы. Петя рассказывал мне, как началась в конце июля копытка, как испробовал он все известные ему способы, как лечил завезенными в бригаду антибиотиками.

Пастухи пригнали табун. Мы пошли с Петей его смотреть. Конечно, Лялянский недаром слыл у нас лучшим бригадиром-нагульщиком. Олени были мясистыми, тяжелыми, телята крупными, большинство с длинными раздвоенными рожками. Такой табун не стыдно было бы сдать государству. Но я сейчас думал о больных оленях. Их было больше сотни, а с теми, что остались в тундре, набралось бы еще столько же. Нескольких едва ходивших пастухи тут же поймали и, отведя в сторону, забили.

— Зачем это? — спросил я у Пети.

— Хотя бы шкуры сохраним, отчитываться будем.

— А мясо?

— Это бросим, Леня. Никак сохранить не могу.

Это было нелепо — сохранять трехрублевые шкуры, когда на каждом олене совхоз нес убыток больше ста рублей. Я не выдержал и чуть громче, чем надо бы, сказал:

— Да кому нужны эти шкуры, если не смог сохранить табун?

Петя побледнел. Видимо, все переживания, все думы последнего месяца вдруг всколыхнули мои слова.

— Что ты понимаешь? — тонким голосом закричал он.— Меня олени тридцать лет мучают. Теперь ты меня мучаешь. Уходи. Я сам буду отвечать. Пусть меня судят.

Я знал Петю уже два года, знал веселого, умного человека, за которого не приходилось стесняться ни на трибуне областного совещания, ни на оленьих бегах, ни в табуне. Сейчас он бил себя кулаками, размазывал слезы на исхудавших, морщинистых щеках и кричал, кричал так пронзительно, что этого нельзя было вынести. Я ушел в палатку, несколько минут лежал ошеломленный. Постепенно Петя утих. Но чувство неловкости не позволяло мне выйти из палатки, снова начать разговор.

Я достал Валины письма. Она писала их давно, но сейчас это уже не имело значения. В них вставала полузабытая городская жизнь, где цветы продают на улицах, где дети уезжают в пионерский лагерь, где непогода — это дождь, прихвативший между домом и троллейбусом. Я читал письма подряд, потом перечитывал те, что были особенно ласковы. И как ни странно, мне захотелось спать, захотелось скорее, хотя бы во сне, очутиться там, в большом городе.

Меня разбудил дождь, стучавший по крыше палатки. Уже стемнело, но сквозь тонкое полотно палатки пробивалось пламя большого костра.

— Леня, давай вылезай,— услышал я голос Лялянского. Он всунул голову в палатку и сказал: — Давай не сердись на меня, вылезай. Я барана убил, сейчас сварим и будем есть.

У костра, под непрекращающимся дождем собралась вся бригада. Ольга закладывала в котел большие куски мяса только что убитого снежного барана. Петя, оживленный, успокоенный удачной охотой, рассказывал, как «очень печальный» лез на сопку, как заметил

группу баранов и подполз к ним. Он подошел ко мне, положил руку на плечо, сказал:

— Не сердись, Леня. Ведь вместе работаем. Всякое бывает. Ты меня ругаешь, я тебя ругаю.

— Конечно, Петя,— согласился я.— Забудем об этом.

Дождь все не переставал, и всем нам пришлось втиснуться в палатку. От того, что прижались друг к другу, мы словно и душевно стали ближе. Да и хорошее мясо как-то способствовало общему благодушию.

Как ни сомневались пастухи в пользе лечения, я все же настоял на своем. Обсудив все с Лялянским наедине, мы назначили Ивана Вувуна и Виктора Эветкана ответственными за лечебную группу оленей. Выделить больных оленей было нетрудно. Гнали табун час в ускоренном темпе, и все хромые отстали сами. Вместе с Вувуном и Эветканом мы вернули их назад по следу табуна, с тем чтобы собрать по возможности всех оленей, брошенных в тундре. К вечеру мы уже имели маленькое стадо. Увы, олени в нем хромали на все лады, и, пожалуй, со стороны это могло даже показаться смешным.

Мы недаром выбрали для лечебного табуна Вувуна и Эветкана. Иван великолепно владел арканом. С ним мы и занимались лечением оленей. Кроме того, возили на моей Искре палатку и одежду, ставили лагерь и варили. Эветкан же круглые сутки пас табун. Приходил поесть, немного поспать, пока мы присматривали за табуном, и снова продолжал выпас. Он был племянником Тналхута, очень напоминал старика лицом, силой, быстротой, но был по натуре человеком тихим и молчаливым. Больные олени, плохо себя чувствуя, старались где-нибудь затаиться, лечь под кустом. Эветкан шел следом за табуном и заботливо проверял все маломальски укромные уголки, где могли бы остаться олени. Тем временем Вувун ловил очередного страдальца, мы валили его на землю, после чего Вувун садился на оленя верхом, а я принимался врачевать. Обмывал больное копыто марганцовкой, вскрывал опухоль и вычищал скальпелем все, что уже омертвело. Иногда ампутировал один или оба пальца копыта. Сам не очень верил, что животное выживет после такой операции, но зимой во время забоя Петя показывал мне таких.

— Помнишь его? Как же не помнишь? Смотри, копыта нет. Сам же и отрезал.

Большей частью операция была не очень сложной. После нее я «обкалывал» из шприца воспаленное место бициллином, разведенным на обычной кипяченой воде. Потом бинтовал рану. В рот оленю высыпали столовую ложку сульфодимизина. И наконец, привязывали ему на рог кусочек бинта, чтобы отличить тех, кого уже обработали.

Оленей нужно было полечить два, а то и три раза. Конечно, обработать всех не было возможности, да, как оказалось, и не нужно. Многие из них болели копыткой в слабой форме. Лечебный табун двигался очень медленно, дни стояли нежаркие, корма и воды хватало, так что были все условия для быстрого выздоровления оленей.

Работа, еще вчера казавшаяся трудной и бесполезной, стала вскоре привычной. Убедившись, что некоторые олени выздоравливают, и Вувун и Эветкан уже не уговаривали меня бросить начатое дело и поскорее двигаться к основному табуну. Пастухи начали лечить сами. Эветкан ценил кровопускание — надрезал кончик уха или хвоста, и эта мера зачастую помогала, олень начинал себя чувствовать лучше. Вероятно, потеря крови как-то мобилизовывала защитные силы организма. Вувун же носил с собой шприц и делал оленям уколы.

Наши малоподвижные больные не требовали большого внимания, как обычно олени осенью, когда в тундре появляются грибы. Мы могли даже позволить себе поохотиться. Вувун часами просиживал на высоких местах с моим биноклем, разглядывал окрестные горы. Несколько раз он замечал снежных баранов, но они были далековато. Посокрушавшись, Иван оставлял идею «сбегать к ним» и начинал искать цель поближе.

Наконец такой случай нам подвернулся. Семь снежных баранов, в том числе очень крупный самец с красиво завитыми рогами, паслись в распадке в верхней части хребта. Это было не так уж далеко от нас, но прямо подойти к ним было невозможно. Одевшись по совету Вувуна как можно легче, я отправился за ним, честно говоря, мало надеясь на успех. Однако оказалось, что Иван отлично знал эти места. После трех часов быстрого подъема мы перевалили хребет и оказались на невидимой для баранов стороне. По части выносливости мы были с Вувуном примерно равны — оба достаточно плотные и тяжелые, среднего роста и, следовательно, с одинаковой длиной шага. Но едва мы тронулись вдоль хребта, чтобы выйти к гребню прямо напротив баранов, я начал отставать. Склон был очень крут и сыпуч, а главное, наш путь то и дело пересекали гряды скал. Я перебирался по узким карнизам осторожно и медленно. К тому же мне мешал карабин, то и дело задевавший за каменную стенку. Вувун злился, но все же поджидал меня. Наконец он догадался посоветовать мне, как нужно ходить на горной охоте.

— Зачем сам смотришь дорогу? Прыгай туда, куда я. Как баранов водит «переводчик», так я сейчас для тебя.

Действительно, бежать за Вувуном след в след оказалось, может быть, и страшновато, но зато быстро. Очень скоро я почувствовал, что важно было не только доверить товарищу выбор пути, но и повторять все его движения, наклоняться там же, где он, хвататься руками. Мне и раньше приходилось слышать, как пастухи называют вожаков у снежных баранов «переводчиками». Но только следуя за Вувуном, «переводившим» меня по скалам, я вполне оценил это название.

После часа сумасшедшего бега мы наконец остановились и, переведя дыхание, стали подползать к гребню, чтобы глянуть на противоположный склон. Вувун выглянул первым. Несколько секунд он, видимо, искал взглядом баранов, потом отпрянул назад и сказал:

— Бежим скорее назад. Кто-то пугнул их. Может быть, успеем перехватить.

Теперь мы помчались по только что пройденным обрывам обратно. Несколько раз выглядывали из-за гребня — бегут ли бараны — и бежали дальше. На пути встретилась довольно глубокая расселина. Мы спустились в нее и тут же услышали над собой тревожный свист. Подняв головы, мы увидели на другой стороне ущелья, там, где оно выходило к гребню хребта, снежных баранов. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, потом овца, возглавлявшая группу, бросилась вперед, а за ней и остальные. Замыкал строй красавец баран с большими рогами. Мы только успели сесть и расставить сошки карабинов, как животные скрылись из виду. И вдруг последний баран вернулся, рога четко

выделялись на фоне неба. Мы выстрелили, и зверь полетел вниз.

Когда мы подошли, баран был уже мертв. Голова его была повернута боком. Мутнеющий глаз смотрел прямо в небо. И вдруг ярко-зеленый луч вспыхнул в зрачке. Мы, словно зачарованные, смотрели на этот удивительный зеленый огонь. Скоро он померк. Уже стемнело, когда, взвалив груз на плечи, мы отправились вниз. Нам пришлось пересечь два неглубоких ущелья, и мне показалось, что я не выдержу напряжения: настолько тяжело было подниматься с грузом. Мы затратили на обратный путь часа четыре, и к концу я уже готов был бросить добычу. Впереди горел костер, предусмотрительно зажженный Эветканом. К счастью, у всего на свете бывает конец. Мы сбросили у костра груз, и недавнее испытание показалось не столь уж жестоким.

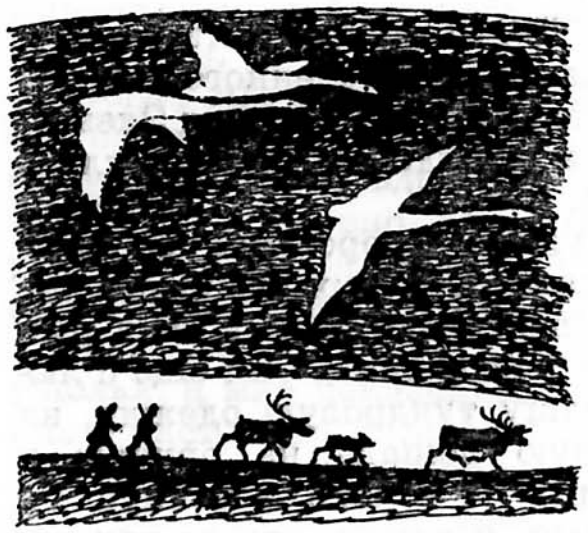
Я сохранил и рога и череп этого барана. Боясь, что, упав с вьюками, Искра их поломает, я приторачивал рога себе к спине и при перекочевке нес сам. Так они пропутешествовали со мной больше месяца. Через два года я сдал их в коллекцию Московского зоомузея. Уже позабытая история вдруг ожила для меня в 1972 году. Зоомузей представил рога в качестве одного из экспонатов коллекции охотничьих трофеев на международную выставку в Будапеште. И рога моего барана оказались рекордными для своего вида. Они были оценены большой золотой медалью.

В середине сентября мы объединили свой табунок с основным. Некоторые олени еще хромали, но опасность эпидемии теперь миновала. В том году была ранняя осень. Уже давно в табуне хоркали и рыли землю копытами быки. По ночам подмораживало. Пастухи мучались: надеть меховую обувь еще было нельзя, слишком тонок на озерах лед, а в резиновых сапогах легко отморозить ноги. Пришлось отменить ночные дежурства, да в них в общем-то уже не было необходимости — табун почти не уходил с того места, где оставляли его вечером пастухи.

По осенней тундре, уминая ногами красную листву на кустарничках, мимо «плантаций» уже сладкой и мягкой морошки мы уходили с Эвгуром в Хаилино. Присмиревшая, привыкшая ко мне за лето Искра шла сама, словно человек, ступая сзади след в след. В посе-

лок мы пришли под вечер. Долго кричали, чтобы кто-нибудь пригнал баты (лодка из выдолбленного тополя) и перевез через реку. Наконец за нами приехал Эхевьи, очень обрадованный, что было видно по доброй улыбке, не сходившей с его лица.

Мы шли с Эвгуром по улице, здороваясь со множеством людей, и чувствовали себя вернувшимися домой. У школы я приметил несколько незнакомых русских девушек, видно новых учительниц. Они еще с любопытством смотрели на нашу тундровую одежду, на кисточки, бусы, навьюченную лошадь, на оружие и почерневшие от загара лица. И только взглянув на мгновение на нас их глазами, я понял, что не так уж обычен и понятен для большинства городских жителей ставший привычным мне мир тундры и оленеводов.



БЫТЬ ПАСТУХОМ

Желание учиться дальше привело меня в аспирантуру Московского университета. Пришлось покинуть Камчатку. Теперь в оленьих табунах я находился лишь во время командировок. Моя научная работа была посвящена изучению особенностей экологии и поведения оленей, которые лежат в основе приемов пастьбы. Однако меня не покидала старая мечта — самому проверить пастушеские навыки, убедиться в практической приложимости научных исследований. Ведь совсем не одно и то же — помогать пастухам и работать самостоятельно, нести полную ответственность за порученных животных.

Эту мечту мне удалось осуществить на Таймыре, в колхозе «Путь к коммунизму» в 1966 году. Собрание колхозников согласилось принять меня на работу рядовым пастухом.

В ночь на двенадцатое июня загудела пурга. Чум дрожал от порывов ветра, а через верхнее отверстие беспрерывно сыпалась снежная пыль, и мы просыпались запорошенные ею. Было мокро и зябко.

Первыми поднялись женщины. Гонтале с помощью небольшого меха раздула костер, повесила над ним чайник. Я почувствовал, как она подоткнула мне под ноги одеяло, чтобы не прогорело. Зашевелился спавший со мной рядом Мереме — наш бригадир и муж Гонтале.

Снаружи доносился голос Динтоде, подгонявшего стадо оленей к чумам. Он дежурил ночью, я должен был сменить его с восьми. Сбросив меховое одеяло, я на ощупь нашел в головах кухлянку, стряхнул с нее снежную пыль и натянул на себя. Поднялся Мереме. Он тоже оделся, взял аркан и вышел к стаду. Обернувшись у порога, бросил мне:

— Ты сиди. Мы сами поймаем ездовых.

Поев, я старательно оделся: еще в одну кухлянку, плащ, резиновые сапоги. Стенка чума мешала выпрямиться, и Гонтале помогла мне оправить одежду.

Я выбрался из чума, запряг пойманных Мереме оленей и, ведя их в поводу, начал поднимать стадо. Олени были вялыми и уходили на выпас неохотно. Примерно в километре от нашего стойбища я остановил их и, повернувшись спиной к ветру, стал ждать, пока они наедятся. Мой Кула, оленегонная лайка, залез на нарту и спал, свернувшись в клубок: снег не таял на его черной пушистой шкурке.

Неподалеку протекал ручей. Он широко разлился, вода пропитала снег, превратив его в снежную кашу. Пурга помешала мне вовремя заметить, как голов пятнадцать оленей перебралось через ручей. Вскоре за ними потянулось и остальное стадо. Подняв ездовых и столкнув Кулу, я направился через ручей. Почти на середине нарта увязла в снежной каше. Олени, не в силах стронуть нарту с места, легли. Слезать в воду мне очень не хотелось, но иного выхода не было. Едва я спрыгнул, как вода потекла мне в сапоги. Проклиная все на свете, я понукал ездовых и дергал нарту, клял пасшихся на той стороне оленей, из-за которых пришлось полезть в эту кашу. Стоило мне выбраться на твердое место, как они испугались и гуськом потянулись обратно.

К обеду пурга начала стихать. Подмораживало. Мне становилось все труднее: вода хлюпала в сапогах, сильно мерзли руки. В нетерпении я посматривал в сторону стана. Пурга стихала, и два черных треугольника чумов становились все виднее. Додежурив, как положено, до восьми вечера, я погнал стадо домой. Возле нашего чума стояла чужая нарта. Подождав, пока стадо легло, я выбил от снега одежду и полез в чум греться.

Кроме Мереме, Динтоде, женщин и детей на шкурах лежал здоровенный красивый парень, одетый в меховые летные брюки, унты, клетчатую рубашку. Я узнал Афанасия Рудинского — председателя нашего колхоза. Мы пожали друг другу руки. Я сел на край шкуры поближе к огню. Гонтале быстро положила передо мной кусок мороженой оленины, хлеб, налила чаю. Хлеб, по-видимому, привез гость.

— Ну как? Нравится в бригаде? — спросил Афанасий.

— Нравится, хорошие люди,— ответил я.

— Не трудно?

— Не-ет,— я улыбнулся.

После дежурства, за чаем жизнь казалась просто прекрасной.

Дождавшись окончания еды, Афанасий попросил у меня документы. Он был в командировке, когда меня зачислили в колхозную бригаду, и теперь внимательно страницу за страницей читал мои направления и рекомендации.

— Вы закончили университет?

— Да.

— А теперь занимаетесь наукой? На оленях ее делаете?

Я невольно засмеялся. Это было хорошо сказано.

— Да. Хочу проверить, могу ли сам держать оленей. Или силен только в теории?

— А где работали раньше?

— На Северной Камчатке.

— Долго?

— Три года.

— Он умеет,— сказал Мереме, наш бригадир.

— Значит, выдержал испытательный срок? Оставишь его в бригаде?

Все, кто был в чуме, посмотрели на Мереме. Я волновался, как на экзамене. Мереме несколько минут молчал, потом твердо сказал:

— Пусть работает. Я согласен.

Председатель пробыл у нас часа три, а потом стал собираться в соседнюю бригаду. Он торопился, потому что ездить по тундре становилось с каждым часом труднее. Снег таял, питая водой реки.

Мы вышли проводить Афанасия. Быстро поймали хороших ездовых оленей, помогли запрячь. Уже с хореем в руках Рудинский на минуту задержался, глядя вперед и, наверное, прикидывая в уме, каким путем ехать. Пурга кончилась, хотя ветер еще не стих. Небо быстро расчищалось, и уже там и тут показалась голубизна. Пелена пурги уходила к югу, и на десятки километров вокруг открывалась тундра с бесчисленными озерами. Ощущение, сравнимое с тем, которое испытываешь, глядя на карту. Глаза невольно прослеживали

знакомые извилины рек, переходили с ручья на ручей, от холма к холму. Солнце стояло довольно высоко над горизонтом. Было ослепительно светло.

— Во-он видишь гору? — показал мне Афанасий.— Она отсюда километрах в семидесяти. Туда ваша дорога, на север.

— Если пурги больше не будет, быстро пойдем вперед,— добавил Мереме.

С того времени мы начали кочевать — аргишить почти ежедневно. Иногда мы останавливались лишь для того, чтобы поспать. Мереме говорил, что, если бы не дети, не стоило бы и чумы ставить. На стоянках мы развязывали лишь несколько нарт с одеждой и продуктами, которые везли с собой.

Утром к назначенному сроку дежурный подгонял стадо к чумам. Подбодрив себя крепким чаем, мы начинали ловить ездовых оленей. Некоторые из них были ручными и не убегали. Большинство же приходилось ловить арканами. Каждого такого оленя надо было заметить в стаде и окружить со всех сторон. Как только он пытался прорваться мимо людей, над ним повисали петли брошенных арканов. Не всякий раз оленя удавалось поймать сразу, так что на ловлю ездовых у нас уходило полтора-два часа. За это время женщины успевали разобрать чумы, сложить шесты и меховые покрышки на нарты. Запрячь ездовых и тронуться в дорогу было уже делом десяти-пятнадцати минут.

Мереме всегда ехал первым, обычно стоя на нарте, чтобы лучше видеть дорогу. За ним длинной лентой тянулся аргиш. От головы в хвост каравана непрестанно доносился протяжный крик Мереме: «Э-хей, э-хей, э-хей!» Чувствовалось, что ему нравится вести аргиш, и он был очень красив в этой роли: в светлой замшевой лу (меховая рубашка), расшитой красными нитками и кожаной бахромой, с откинутым капюшоном, очень уверенный и неторопливый в своих движениях.

Стадо, направляемое дежурным пастухом, быстро обгоняло караван. На первых километрах олени почти не кормились. Что-то неудержимо тянуло их на север, откуда сутками дул слабый ветер. В бинокль можно было видеть, что тундра впереди ничем не отличалась от пройденной, разве что снега было побольше. И все же север притягивал все живое: и птиц, и оленей, и даже людей. Это чувство было у оленей так сильно, что

я не боялся на дежурстве перепутать дорогу. Приходилось лишь следить, чтобы стадо не слишком растягивалось: то придерживал передних оленей, то подгонял отставших. Часа через три-четыре после ухода со стана надо было собрать стадо на отдых. В это время обычно мимо проходил аргиш. Еще через два часа впереди возникали темные треугольники чумов. Тогда, распустив стадо на выпас и не давая ему слишком быстро двигаться вперед, я начинал ждать смены.

Мереме волновался, что мы не успеем перейти по льду реку Росомашью, преграждавшую нам путь в тундру. Вместе с Иваном Момде он уехал в трехдневную разведку, а мы втроем держали табун и заготавливали дрова.

В безлесной тундре они должны были служить бригаде все лето и осень. Дров нужно было заготовить десяток нарт, причем годились только сухие, прямоствольные лиственницы, которые удобно было бы везти с собой. Снегу было уже немного. Он таял быстрее, чем приносили с собой пурги. Ездить на оленях по лесу стало очень легко — они не проваливались и нарта хорошо скользила. Удобно было тренировать молодых ездовых быков. Теперь этим занялись все пастухи — возили дрова и одновременно учили оленей.

Вернулся с разведки Мереме, очень обеспокоенный и суровый. Дружное половодье уже взломало лед на Росомашьей, оставалось, по словам бригадира, всего два-три места, где еще можно было переправиться. Едва напившись чаю и перекусив вареной гусятиной — ребята подстрелили по дороге пару птиц,— Мереме начал торопить нас с кочевкой. Быстро подогнали табун, поймали сотню оленей, запрягли их, составили аргиш — нарта за нартой — и двинулись вперед. Табун погнали Момде с Динтоде. Всю ночь мы шли вперед и вперед, потом Мереме решил устроить дневку. Оленям нужен был отдых, к тому же много важенок с оленятами отстало.

Женщины начали строить чумы. Составили пирамидой шесты, перехватили их сверху арканом и натянули его в наветренную сторону, прикрепили к колу. Аркан помогал чуму выдерживать напор ветра. Готовый остов женщины начали обтягивать меховым чехлом из оленьих шкур. Вся эта процедура была мне малознакома, а работу с оленями уже закончили, пастухи разошлись

кто куда, и я, сидя на нарте, наблюдал, как женщины строят наш походный дом. Вдруг Гонтале ворчливо сказала:

— У нас мужчины тоже помогают ставить чум, если свободны.

— Я ведь не умею.

Женщины дружно засмеялись и охотно принялись мной командовать: принеси, натяни, подержи. Не все ли равно было — сидеть без дела или помогать. Вид у женщин был очень забавный: в развевающихся на ветру, скрепленных двумя пуговицами на груди дошках и малахаях, обшитых спереди пушистой собачьей шкурой. Опушка малахая, по-видимому, соответствовала своеобразной моде — мех для нее подбирался длинный и грубый, так, чтобы торчал, окаймляя лицо. Наверное, женщины загодя присматривали себе подходящую собачку и любовно ее растили.

От того места, где мы впервые поставили чум, и до реки Мереме уже не делал больших остановок. Недолго поспав рядом с нартами, пока ездовые быки кормились и подтягивался табун, мы снова шли вперед. Река уже петляла рядом, но переправиться не было возможности. Никто из пастухов, кроме меня, не умел плавать, да и оленята еще были слишком малы, чтобы гнать табун вплавь. Один из ледяных мостов, на которые рассчитывал бригадир, оказался уже разрушенным. Мереме сильно волновался. Не в силах ускорить движение аргиша, он то отрывался далеко вперед, то снова возвращался к нам. Когда до переправы оставалось с полкилометра, он что-то закричал. Динтоде, Чегоде, женщины, а глядя на товарищей и я погнали оленей бегом.

Ледяной мост и впрямь был уже совсем тонок. Вода с шумом устремлялась под него. За нартами на лед пошел табун. Мереме, бросив упряжку на той стороне, вернулся к реке и кричал Ивану Момде, чтобы тот не слишком напирал на оленей. Сгрудившись на мосту, они могли обрушить его в воду. Вдруг одна из важенок предпочла переправиться вплавь, и за ней устремились другие. Я хотел было помешать им, но Мереме криками и взмахами рук остановил меня.

Следом за последними оленями я поднялся на высокий берег над Росомашьей. Впереди лежала необъятная тундра. Где-то за ней находилось озеро Таймыр, а

дальше — мыс Челюскин, океан. Я невольно оглянулся назад, туда, где еще темнела лесотундра. И жаль было с ней расставаться, и манила неизведанная даль.

Пожалуй, труднее всего мне давалась ориентировка. Не наделенный от природы чувством направления, я легко терял представление о том, где находится наш стан, куда надо направлять табун. Я не расставался с компасом, часто поднимался на холмы, чтобы осмотреться вокруг. Однажды я так и не смог найти дом. Дежурил ночью, а на следующий день мы должны были кочевать. Когда я уезжал из дома, Мереме попросил утром прихватить из табуна несколько ездовых, чтобы им не идти от дома до стада пешком. Олени паслись ночью неспокойно. За несколько теплых дней тундра покрылась множеством проталин. Олени уже ленились раскапывать снег и тянулись от проталины к проталине. Мне приходилось постоянно находиться с наветренной стороны, чтобы придерживать стадо. В то же время оленей следовало понемногу пускать на новые места, чтобы они наелись. От этого зависело и количество молока у важенок, и рост оленят. Ночи, конечно, в нашем понимании не было. Солнце находилось довольно высоко над горизонтом. Разве что тише пели птицы да в голове у меня чуть гудело после суток без сна.

Утром я довольно долго гонялся с арканом за ездовыми. Искусство ловли арканом мне давалось с трудом. Но все же задание Мереме я выполнил и, привязав сзади своей нарты пятерку быков, отправился к лагерю. По моим расчетам, нужно было ехать минут тридцать, но и через час ничего похожего вокруг на чумы я не заметил. Поднявшись на бугорок повыше, я поводил биноклем вокруг, нашел табун. Волей-неволей пришлось вернуться.

Снова я попробовал найти дом и снова неудачно. В третий раз я уезжал из табуна, уже совсем не представляя, где находятся чумы. Все же добрых два часа упрямо гнал оленей туда, где рассчитывал найти дом, пока не увидел обернувшись, что в табуне есть люди. В тундре видишь иной раз на двадцать километров вдаль. Когда я вернулся, Динтоде с удивлением стал спрашивать:

— Куда ты пошел? Мы по следу смотрели, не мог-

ли понять. Мереме сказал: наверное, он оленей отбившихся от стада увидел.

Я признался, как было дело. Мереме внимательно слушал, потом сказал:

— У тебя в голове закружилось. Вот на этот бугорок поднимись — и дом виден.

Хотя я и сильно устал, и наволновался, но последовал его совету. И сегодня не могу объяснить, как это я искал дом и ехал от него в противоположную сторону.

Чем дальше на север, тем больше встречалось озер. Подтаявший лед на них был ярко-голубым. В полыньях отдыхали пролетные утки, а иногда со звонким кликом с них поднимались лебеди. Как прекрасно было в те дни пасти! Я сбросил московский жирок, чувствовал себя легким и сильным. Погнав ездовых быков галопом, я мчался по льду озер, стоя на нарте и выпрямившись во весь рост. Приятно было смотреть на свою тень, чувствовать себя настоящим пастухом. Олени казались мне славными животными: быстрыми, пугливыми, красивыми.

Но моя самоуверенность оказалась напрасной. Как только появилась зеленая трава, куда-то улетучились и власть над стадом, и мое умение пасти.

...Я принял стадо около двенадцати ночи. Солнце светило почти так же ярко, как днем. Было очень тепло. Ночная тундра отличалась от дневной лишь тишиной: не кричали чайки над озерами, не пролетали со свистом утки. Запрягая оленей в нарту, я случайно бросил взгляд на своего Кулу, как обычно привязанного цепочкой к нарте, и подумал, что не стоит таскать его с собой — в тундре сейчас очень много воды. Я привязал собаку к одной из грузовых нарт. Кула привык быть повсюду со мной и жалобно скулил, когда я уезжал.

Разбудив стадо, я дождался, пока все олени тронутся на выпас. Передняя часть стада быстро ушла вперед, в тундру. Одного жаркого дня было достаточно, чтобы вся она зазеленела. Сквозь прошлогоднюю ветошь повсюду пробивались ростки осоки, а на кочках букетиками распустились желтые соцветия пушицы. Олени быстро перебегали от кочки к кочке, жадно сощипывая эти пушистые шарики.

Направляя ездовых оленей вдоль края стада, я постепенно заставил его двигаться под углом «к ветру».

Передние олени уже успели обогнать меня почти на километр. Я стал кричать, стараясь спугнуть их и заставить приостановиться. Теперь я отходил от стада в сторону, давая ему дорогу «к ветру». Как и должно было быть, первоначально узкая лента животных начала быстро шириться, и стадо рассыпалось по тундре. Теперь все олени могли спокойно, не мешая друг другу пастись.

Довольный своей работой, я поднялся на холм, привязал ездовых к нарте, вынул бинокль — хотелось узнать, что делается на свете. На нашем стане было тихо. Скользя взглядом вдоль горизонта, я разыскал стан бригады соседнего колхоза. Потом повернулся в другую сторону. Там паслось стадо еще одной бригады нашего колхоза. Оно двигалось параллельно и было не так уже далеко, особенно если смотреть в бинокль.

Пока я осматривался, мое стадо снова потянулось вперед. Олени двигались наперегонки, стараясь раньше поспеть к лакомому корму. Пришлось ехать в голову стада, чтобы остановить его. Однако стремление оленей вперед было так велико, что через несколько минут стадо начало обтекать меня с двух сторон. Мои крики и жесты действовали мало. Пока я «воевал» на одном краю, другой успевал далеко уйти. Мне еще не приходилось видеть оленей такими непослушными. Животные словно обезумели от голода, потеряли чувство страха перед человеком, которое заставляет их собираться в стадо. Без этого невозможно управлять ими.

Четыре ездовых быка с трудом волокли мою нарту по сухой траве, по голой земле. Несколько раз я сходил с нарты, чтобы дать ездовым немного отдохнуть. В конце концов один из быков упал, не в силах работать дальше. Пока я ловил новых ездовых оленей, стадо расходилось все шире. Поднявшись на один из увалов, я огляделся вокруг и пришел в отчаяние — повсюду были олени. Я посмотрел в бинокль в сторону соседней бригады: ее стадо было совсем близко. Если бы наши стада соединились, это было бы страшным позором.

Я ощутил прилив ярости: «Нет, проклятые, я вас все же заставлю подчиниться». Поймав первых попавшихся ездовых, с удвоенной энергией я принялся собирать стадо. Олени казались мне сейчас тупыми и неприятными животными. С ненасытной жадностью,

кося на меня глазами, они хватали, хватали зеленые травинки...

Я перепробовал десятки хитрых способов: надевал на хорей шапку, делая вид, что я очень большой, падал на землю и вдруг бросался на ближайшего оленя. Все было тщетно. За три года работы на Камчатке мне ни разу не приходилось видеть, чтобы страх перед человеком отступал у оленя перед голодом.

По заведенному порядку я должен был утром подогнать стадо к чумам. Но минуло десять, одиннадцать, а сделать это не удавалось. За двенадцать часов ночного дежурства я ни разу не присел и очень устал; уверенности в том, что смена закончится благополучно, уже не было. Все чаще и чаще я смотрел в сторону чума, надеясь увидеть товарищей, идущих мне на помощь.

Около часа дня я погнал ездовых к дому. На полпути мне встретился Динтоде. Улыбаясь, он сказал, что давно смотрел в бинокль, как я бегаю за стадом, но не мог понять, почему не гоню оленей домой. В конце концов он решил идти мне помогать, а Мереме и Чегоде пьют чай и скоро придут тоже.

Когда я вошел в наш чум, Мереме уже собирался уходить. Молча я сел на свое место, скинул сапоги, дождался, пока Гонтале поставит передо мной столик, положит мясо, и принялся за еду. Обстановка дома была совсем мирной. Как будто и не было ужасной ночи. Гонтале что-то шила, а Саша, ее сынишка, стоял рядом и теребил медные бляхи, рядами украшавшие грудь матери. Мереме молча сидел рядом со мной, видимо ожидая рассказа о дежурстве. Но я только с яростью поглядывал по сторонам. Меня душила злость на свою беспомощность, на бесполезность имевшихся у меня знаний. «Сражение» с тысячью двумястами тупыми животными я проиграл...

Почти неожиданно для себя я сказал Мереме:

— Не могу держать стадо. Больше не пойду один на дежурство. Буду работать подпаском. Учиться надо.

Мереме ничего не ответил. Тогда я лег спиной к нему и сделал вид, что сплю.

На следующий день я отправился на дежурство вместе с Динтоде. Олени набросились на зеленые ростки пушицы, как и накануне, мало обращая внимания на мои крики и жесты. Тогда Динтоде спустил с привязи

свою беленькую собачку. До этого мне не приходилось видеть, как работают в стаде с собакой (на Камчатке пасут без собак).

Как будто волна прокатилась по стаду: это олени один за другим подняли головы. Через мгновение ближние к собаке бросились бежать, их испуг заметили другие олени, тоже обратились в бегство, и очень быстро все стадо собралось в плотный ком. Мы не собирались прекращать выпас, и Динтоде отозвал собаку.

Через несколько минут и я «опробовал» своего Кулу. До этого времени, помня наставления товарищей, я не решался спускать собаку. Пастухи говорили, что телята еще малы, плохо бегают и собака порвет их. Было приятно смотреть, с каким азартом Кула помчался к оленям. Куда девались их хитрость и жадность! Передо мной снова были легкие, быстрые звери. Они мчались от собаки, откинув головы, положив рога на спину. Как это было красиво и приятно: они снова были в моей власти.

У меня словно появилась длинная-длинная рука. Я доставал ею до оленей, ушедших на полкилометра и дальше. Можно было позволить себе роскошь не спешить, видя, как уходят в сторону увлекшиеся пастьбой животные. Мой славный Кула, черный и лохматый, словно чертик, сидел рядом, поглядывая то на стадо, то на меня. Стоило мне пожелать, как он срывался с места и мчался, чтобы вернуть оленей.

Я принялся внимательно наблюдать, как Динтоде использует свою собаку, и тут же проверял его приемы на деле. Они были очень просты. Главная для пастухов особенность поведения собак врожденная: они никогда не пытаются отрезать оленя от стада, гоняют только по краю. Впоследствии я наблюдал точно такое же поведение и у щенков, впервые выпущенных в стадо. Оказалось, что так же ведут себя волки. Словом, в тот день я получил множество интересных сведений. Но важнее всего были вновь обретенные власть над стадом и уверенность в себе.

Когда мы подогнали стадо к чуму, уложили его и отправились пить чай, я рассказал Мереме о своем открытии. Довольный удачей, я сначала не заметил, что он слушает очень хмуро. Вдруг Мереме перебил меня:

— Наверное, ты давай кончай работать.

— Почему?

— Ты плохой человек.

— Но почему?

— Зачем так сердился. Я думал — ты драться со мной хочешь.

Привычная для меня озабоченность на лице Мереме сейчас сменилась какой-то ожесточенностью. Он смотрел на меня, словно видя впервые и не зная, чего можно от меня ждать. Я попытался оправдаться:

— Да что ты, Мереме! Я же на себя был зол. Обидно было, что не смог пригнать стадо домой, держать как следует.

— Любой человек может отпустить стадо. Если каждый будет сердиться, как тогда работать?

Обида Мереме была для меня неожиданной. И уходить из стада мне очень не хотелось.

Я сказал:

— Не сердись, Мереме. Каждый может сделать ошибку. На первый раз должен меня простить.

Вскоре мои товарищи, разговорившись, перешли на родной язык — нганасанский, который я понимал с трудом. Задумавшись о своем, я поймал себя на мысли, что, даже не понимая речи товарищей, я не могу смотреть на них как посторонний. Как когда-то на Камчатке, я уже свыкся с окружавшим меня миром — его людьми, широкими тундрами, заботами и радостями. Месяцы работы убедили меня в том, что все в нем взаимосвязано. Пастухи часто расспрашивали меня о том, как живут и работают их коллеги на Камчатке. Я охотно рассказывал, но отнюдь не с тем, чтобы «научить» товарищей. Перенести методы выпаса оленей, особенности быта из одного района в другой невозможно.

На Таймыре широкие, не слишком богатые для оленей кормом пастбища. Стадо приходится распускать (или оно расходится само), и тогда приемы летнего выпаса камчатских оленеводов, рассчитанные на управление плотной массой оленей, оказываются в этих условиях непригодными. На востоке летние пастбища расположены по узким долинам рек и ручьев, корма здесь много, олени не расходятся слишком широко, но зато велик общий темп движения стада по летнему маршруту. Из-за того, что олени находятся рядом, испуг одного быстро передается другому, напугать стадо можно и криком, и жестом, а ведь именно на оборони-

тельном поведении оленей основано большинство приемов управления ими.

По-иному идет выпас на Таймыре. Стадо расходится на 2—3 км окрест, так что без помощи собаки не обойтись. Но применение такого сильного раздражителя, как собака, еще более снижает пугливость оленей. Одними криками и жестами человеку здесь ничего не сделать. Так одно из основных различий между оленеводством востока и запада нашей страны — использование собак — оказывается обусловленным и природными условиями пастбищ.

На широких пастбищах Таймыра стадо пасут летом «веером», по три-четыре дня гоняя его от чума во все стороны. Потом следует кочевка на новое место. Дважды в сутки стадо возвращают обратно к дому и укладывают на отдых. В это время дежурные пастухи пьют чай. Ведь в тундре костер не разведешь: здесь нет дров. Приходится топить сырыми веточками ивняка, а они горят только в чуме, который создает тягу. К тому же женщины специальным кожаным «мехом» непрестанно раздувают огонь. Так что и «выпас с чумами», который так не нравится специалистам-оленеводам, потому что отвлекает силы пастухов на перевозку чумов, семей, имущества, тоже оказывается здесь необходимым. Что бы делали пастухи, оказавшись в таймырской тундре по примеру камчатских оленеводов с легкой палаткой, без помощи женщин, без чума, а следовательно, и без огня?

Наше кочевье снова ускорилось. И оленей, и многих товарищей охватила лихорадка движения. Гуси, утки, чайки, соколы, еще недавно обгонявшие нас, теперь гнездились, а мы все шли и шли вперед.

Незамирающий день, теплынь меняли тундру очень быстро. Она обмякала, становилась пружинистой, местами топкой. Все длиннее отрастала трава, и вместе с ней подымался комар. Все реже выдавались часы, когда дул ветерок и можно было откинуть капюшоны. Все более непослушными становились олени.

Возле одного из озер мы задержались на сутки, чтобы порыбачить. Ночью дежурил Мереме. Утром он очень долго не пригонял стадо. Динтоде, старик Чегоде и я сидели возле дымокура, ждали Мереме, то и дело поглядывая на тундру. Все молчали, не хотелось ни о чем говорить. Чегоде временами закрывал глаза:

или дремал, или жмурился от дыма. Динтоде же сидел неспокойно. Все время мял левой рукой локоть простреленной правой — наверное, она ныла,— иногда поднимал к глазам бинокль.

Наконец показалось стадо. Мереме подошел к нам, присел отдохнуть. Через несколько минут он сказал:

— Оленей в тундре оставил.

— Много?

— Может быть, сто.

Мереме сказал это очень спокойно, и точно так же мы восприняли его сообщение. Невольно я вспомнил, как вел себя и что переживал в тот день, когда не мог собрать стадо.

Чегоде остался с основным стадом, а мы с Динтоде отправились за ушедшими оленями. Они были уже далеко. Расстояние между нами почти не уменьшалось. Олени часто пропадали из виду, опускаясь в распадки или скрываясь за холмами. Потом мы начали их догонять. Было очень жарко, но комары не позволяли нам снять капюшоны и рукавицы. Я старался не сердиться, зная, что «на комаре» главное — выдержка.

Часа через полтора мы настигли оленей, но завернуть их не могли. Собаки гоняли с хриплым тявканьем, но табунок каждый раз уходил от них на ветер. Оленей можно было понять. Стоило нам повернуться к ветру спиной, как комары облепляли лицо, и их приходилось не сгонять, а стирать. С помощью Динтоде и я усвоил хороший прием: чтобы догнать оленей, мы двигались прямо к ветру, заранее зная, что они в конце концов двинутся в этом направлении.

Было уже два часа, хотелось есть, а конца гонке не предвиделось. Вдруг Динтоде сказал, что надо отдохнуть. Он сидел, нисколько не волнуясь, что олени снова уходят от нас, и только повторял свое любимое:

— Да-да-да-да.

— Опять они уйдут далеко. Напрасно мы бегали,— не выдержал я. Динтоде повторил свое бездумное «да-да-да-да» и вдруг добавил:

— Такая наша работа. Немножко отдыхай, немножко работай.

Динтоде сидел нахохлившись, спрятав руки под своей старенькой лу. Он был старше меня на двадцать лет, простреленная на охоте рука у него плохо сгиба-

лась. И все же мое терпение и выдержка всегда кончались раньше.

Собаки пытались зарыться мордами в мох, терли глаза лапами — их заедал гнус. Мне казалось, что началась сильная пурга — так бил по лицу рой комаров. Отдельных укусов я уже не чувствовал. Хотелось скорее приняться за работу, это хоть немного отвлекало. Но при первой же попытке послать собак лайка Динтоде отказалась гонять. Тихонько скуля, она следовала за нами метрах в десяти, видимо боясь, что хозяин ее побьет. Вся надежда теперь была на Кулу. Но и он был не в лучшем виде. Дополнительные пальцы на его задних лапах — признак чистокровной оленегонной лайки — были сбиты в кровь, а язык, вывалившийся наружу еще с утра, казался серым.

Еще несколько раз мы отдыхали, потом снова гоняли. Если б не Динтоде, я бы, наверное, заплакал. А он был по-прежнему невозмутим, разве что все чаще повторял: «Да-да-да-да» — и только раз добавил тихо: «Плохо немножко. Всегда так летом».

Нам удалось завернуть оленей лишь к вечеру, когда стало прохладнее и приутих гнус. Мы подогнали свое маленькое стадо к основному и соединили их. Через минуту уже нельзя было отличить, какие олени так долго мучили нас. Пастухи ушли, а я дождался в стаде Мереме. Потом я брел к чуму из последних сил. Все уже спали. Я пробрался на свое место. Гонтале вылезла из-под одеяла, поставила передо мной столик, налила чай, положила мясо. Прожитый день, сделанная работа не вспоминались. Нужно было отдохнуть. Назавтра снова в табун.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЧАЛО ПУТИ 3

СБОР УРОЖАЯ 22

СТРАНА МОЛОДЫХ 36

ХАИЛИНО 45

ЗИМА — БУДНИ 59

ЛЮБОВЬ К ОЛЕНЕНКУ 77

К МОРЮ 92

ВРЕМЯ ОЛЕНЬИХ СВАДЕБ 104

ЗИМА — ПРАЗДНИК 114

ЖЕНЩИНЫ ВТОРОЙ ПАСТУШЕСКОЙ БРИГАДЫ 133

ПО СЛЕДУ В ПОЛОВОДЬЕ 143

ЛЕТОВКА 162

ПАСТУХИ В РОЛИ ДОКТОРА АЙБОЛИТА 180

БЫТЬ ПАСТУХОМ 190

Баскин Л. М.

Б 27 Сегодня — кочевка. М., «Мысль», 1974.

205 с.; 8 л. ил.

Автор книги — молодой зоолог — работал колхозным пастухом на Таймыре, руководил оленеводческим совхозом на Камчатке. На страницах книги он как бы повторяет свой путь изучения оленеводства, вспоминает годы кочевий, поединки с вышедшими из повиновения табунами, переправы в половодье через реки, охоту на медведей, оленьи бега. Читатель узнает об удивительных достижениях народной школы пастьбы, о быте оленеводческих народов Севера.

Б $\frac{20\,901\text{-}262}{004\,(01)\text{-}74}$ 176-75 **591.5**

Баскин, Леонид Миронович
СЕГОДНЯ — КОЧЕВКА

Редактор Ю. П. Митяева
Младший редактор С. И. Ларичева
Оформление художника И. Ф. Шипулина
Художественный редактор С. М. Полесицкая
Технический редактор О. А. Барабанова
Корректор С. С. Новицкая

Сдано в набор 12 мая 1974 г. Подписано в печать 8 августа 1974 г. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Усл. печатных листов 11,76 с вкл. Учетно-издательских листов 11,51 с вкл. Тираж 65 000 экз. А01875. Заказ № 1344. Цена 44 коп.

Издательство «Мысль».
117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28